

Оксана Ветловская

КАМЕННОЕ ЗЕРКАЛО

ПЕРЕД
ВЫСШИМИ
СИЛАМИ
ПРИДЁТСЯ
СДЕЛАТЬ
ВЫБОР

18+



Воронов мост

Оксана Ветловская
Каменное зеркало

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ветловская О.

Каменное зеркало / О. Ветловская — «Эксмо», 2021 — (Воронов мост)

ISBN 978-5-04-107335-0

Альрих фон Штернберг наделен сверхъестественными способностями. Интеллектуал и аристократ, единственный наследник древнего рода, проклятый близкими, он носит мундир офицера СС и работает в секретном научном институте. Ради своей карьеры он готов на многое. Но способен ли он примириться с тем, что увидит в концлагере? И достойна ли его Родина, Германия, устройства, способного изменить ход Времени? У Даны нет никого и ничего на свете. Только шесть цифр, что заменяют ей имя. И ненависть, благодаря которой она ещё жива. Сможет ли она противостоять тому, кто ставит над людьми парапсихические и оккультные эксперименты? Он – немец. Она – русская. Их встреча навсегда изменит не только их собственные судьбы.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-107335-0

© Ветловская О., 2021
© Эксмо, 2021

Содержание

Пролог	5
Часть I	9
Глава 1	9
Глава 2	48
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Оксана Ветловская

Каменное зеркало

Пролог

Из чёрной тетради

Я не берусь сказать, с какого возраста начал слышать чужие мысли. Вероятнее всего, с самого рождения.

Помню себя лет с трёх. Помню, как молча и яростно упирался, пока мать тянула меня из дальней комнаты в оглушительную, яркую, страшную гостиную. Я унижительно загнулся о край ковра и дальше пошёл сам, но надолго моих сил не хватило. Слишком много чужих людей было вокруг. Их мысли грохотом горного обвала прорвали привычный фон из родительских забот, звучащих глухим морским прибоем, колкого недовольства моей сестры (она меня терпеть не могла за то, что я, со своим дефектом, вечно был объектом всеобщей жалости) и блёклых ментальных образов пары служанок. Ко мне склонились незнакомые лица. «Так сколько тебе лет? – и тут же, поверх, обращаясь к моей матери: – О, я уверена, это поправимо, я дам вам адрес хорошего окулиста...» Я тем временем стоял смирно и старательно смотрел вверх, так как знал: именно этого сейчас от меня хотят отец и мать. «Поздоровайся с гостями, Альрих». Но стремительное мелькание неразборчивых образов – извержение чужих мыслей – становилось невыносимым: казалось, мою голову сейчас раздавит в тисках хаоса. Я зажмурил глаза, заткнул уши, упал на ковёр и начал дико кричать. Кажется, я обмочился.

Помню, в тот день, уже переодетый, я потерянно ходил по коридору, чувствуя, как в сорванном криком горле прорастает чертополох, и слышал (отнюдь не обычным слухом), как родители шёпотом спорят в спальне. Обо мне.

Из комнаты вышел отец – перед отцом нельзя было не преклоняться: ростом под прилолку, красив породистой, холодной красотой. Я подошёл робко – знал, что сильно виноват, хотя не понимал в чём.

Отец молча резанул меня взглядом ярко-голубых глаз, попытался обойти, затем слегка оттолкнул меня коленом. Очень аккуратно. Очень брезгливо. Со стыдом.

Лет до пяти я отчаянно боялся любых прогулок. На улице я словно бы становился всеми прохожими сразу, моё «я» рвалось на тысячу кусков, и я принимался вопить до хрипоты или просто терял сознание.

В доме часто бывали доктора. Матери их слова не нравились: «Послушайте, мой сын не эпилептик и не душевнобольной. Ему просто нужно подобрать очки...»

Когда мы с матерью оставались наедине, она порой улыбалась мне с изумлённой нежностью – ведь всякий раз, когда она была чем-то огорчена, я с тех пор, как сделал первые шаги, непременно подходил к ней, чтобы молча её обнять. Мать уже тогда догадывалась, что я воспринимаю мир не так, как другие. Но никак не могла – не может и по сию пору – объяснить это моему отцу. Отец мне не улыбнулся, кажется, ни разу. Отец всегда и везде стыдился меня: как же так вышло, что вот этот косоглазый заморыш, начинающий верещать всякий раз, когда его выводят к незнакомым людям, – единственный наследник рода?

Позже, однако, я стал находить в прогулках большое удовольствие, приводя мать в злое отчаяние заявлениями типа: «Вон, смотри! Этот человек, когда придёт домой, побьёт жену». «А вот эта женщина только что стащила сумочку». «А вон тот мужчина – видишь, он смотрит на тебя? – он думает, что ты красивая». Мать больше не испытывала ко мне

прежнюю чуть опасливую нежность. Теперь она считала, что я всё вру – напропалую, ей назло, а мои фантазии не по-детски грубы, попросту отвратительны. Меня часто наказывали за «бесстыжие выдумки», пока я не приучился держать свои наблюдения при себе.

Тем временем из дома начали исчезать служанки. Блюда на обеденном столе становились всё скуднее. Как сейчас вижу: сестра капризничает, отодвигает тарелку, но тут же придвигает обратно под леденящим взглядом отца; ведь отец умеет ударить одним лишь словом, заморозить одним только взглядом, его мысли тяжелы и остры, как секиры. Я сидел тихо. Я знал, что нашей семье, возможно, скоро будет совсем нечего есть – именно этого очень боялись родители, хотя никогда не говорили о своих опасениях нам с сестрой.

В разных комнатах нашего большого дома висели портреты предков – и вечерами я украдкой подходил к каждому из них. Я просил предков, чтобы те не дали нашей семье умереть с голоду: неспроста же они так внимательно смотрят, думалось мне, все эти люди, рыцари и дамы, поэты и епископы, все так похожие на моего отца. А тот во времена моего детства любил повторять: «Надо жить так, чтобы предки могли нами гордиться». От людей на портретах нашей семье достались фамильный герб и девиз. Герб – синий, как небо, с золотыми лилиями и звёздами, а венчающий его девиз звучит так: «Звезда их не знает заката». Однако я и тогда уже понимал, что на самом деле всё очень плохо и гордому девизу наша маленькая семья совсем не соответствует. Вечерами у нас на ужин были лишь остатки чёрствого хлеба.

Помню, как однажды в наш дом пришли двое хлыщей в одинаковых костюмах-тройках – нет, не гости, они к тому времени у нас уже давно не появлялись – вольно переступили порог широко распахнутой двери и монотонно отвечали на все возражения матери: «Поймите, мадам, нас всё это нисколько не интересует». Гораздо позже я осознал, что эти двое были представителями кого-то из разъярённых кредиторов отца. Но в тот день я не понял ни слова из услышанного, мне ещё не было и семи. Запомнил другое: страх матери. И ещё кое-что: один из визитёров, заметив двух детей, выглянувших из комнаты, присмотрелся к младшему, очкарику, и, ухмыляясь, скосил к крупному носу цыганистые глаза. И как же меня это ошпарило, как возненавидел я носатого типа за мерзкую выходку, за издевательство над моей уставшей, измученной матерью, как яростно поклялся отомстить... «Пусть тебе будет ещё хуже, чем нам!»

Лицо того хлыща помнится мне до сих пор. Лица подобного ярко выраженного типа спустя несколько лет начали появляться на пропагандистских антиеврейских плакатах. Мне при виде таких плакатов всякий раз становилось не по себе, будто я всё это накликал. Ведь я отлично запомнил, как, едва выйдя из нашего дома, визитёр поскользнулся на обледенелой дорожке, упал и сломал себе локоть. Я не смотрел в окно и не видел произошедшего, но ясно слышал чужую боль. Наверное, я должен был обрадоваться, однако не получилось: когда ты ощущаешь чужую боль как эхо собственной, радоваться при подобных происшествиях затруднительно.

Обрадовался бы я, если бы не обладал способностью слышать чужие мысли? Этот вопрос занимает меня до сих пор. Наверняка бы обрадовался. Наверняка.

Рассказ о себе принято начинать с детства. Но сейчас я, сидя над сложнейшими расчётами, в лихорадочном, выматывающем ожидании судьбоносной операции, едва ли смогу придерживаться хронологического порядка. И если уж на то пошло, пишу я не автобиографию, а... попытку оправдания?

В начале декабря прошлого года, утром одного из командировочных дней – в моей памяти они слились в один бесконечный сумрачный день, из которого я с ужасающей чёткостью помню каждую подробность, – я шёл от автомобильной стоянки по центральной улице лагеря. За мной увязался недавний знакомец из соседнего гостиничного номера, тоже приехавший на службу. Жизнелюбивая общительность соседа являлась для меня суицидальным бедствием. Особенно если учесть, что я тогда всё свободное время предпочитал проводить молча, бес-

смысленно уставившись в одну точку, отчего мой ординарец начинал всерьёз беспокоиться за моё здоровье.

Звали соседа не то Крюгер, не то Креггер, да и чёрт с его фамилией, неважно. Он был профессором медицины и доктором философии, преподавал, кажется, в Берлине. Сюда приехал в командировку на пару месяцев, заменить кого-то из взявших отпуск лагерных медиков. Успев прознать, что я выпускник философского факультета (лагерное начальство сплетничало про меня много и охотно), этот Крюгер, скучая в здешнем не слишком интеллектуальном обществе, посчитал меня достойным собеседником и не отвязывался. Я же старался не отталкивать его, понимая, что он может предоставить мне ценные сведения относительно узников – меня-то командировали расследовать убийства персонала, и мне не пристало брезговать никаким источником информации.

Что меня в нём поражало: Крюгеру было около шестидесяти. Я никак не ожидал увидеть среди лагерного персонала ровесника моего отца. Бог ведает почему, но мне тогда казалось, что хотя бы возраст (и воспитание прошлого века) может служить неким препятствием... Я не мог не поинтересоваться, что он здесь делает и почему согласился выполнять свои нынешние обязанности – констатировать смерть при казнях, а ещё «сбирать образцы» в таком месте: вырезать куски печени из только что умерших от голода (а то, по его же словам, ещё живых) людей. Он, хорошо обеспеченный, признанный в академических кругах, давно состоявшийся человек в возрасте, запросто мог бы отказаться от подобного занятия. Ответ Крюгера – я, телепат, ручаюсь за его совершеннейшую искренность – я не забуду никогда:

– Здесь, конечно, *Anus Mundi*. Перед ликвидацией женщины закатывают безобразные сцены. Это дурно влияет на моё пищеварение. Но в общем – самая обычная работа.

Мог ли я назвать свою тогдашнюю работу «обычной»?

Мы шли по широкой лагерной улице, Крюгер рассказывал мне о достоинствах здешнего офицерского казино и хвалил блюда в столовой. Курица с картофелем. Кролик с капустой. Ванильный пудинг. Я в те командировочные дни вообще не чувствовал вкуса еды, даже вспомнить не мог, что ел и ел ли вообще. Пиццеварению Крюгера стоило позавидовать.

В лагере не росло ни единого дерева, ни единого куста. Кругом была лишь присыпанная снегом земля и стены, стены... И я подумал: счастье прочих людей, что они рождены жить среди невидимых глухих стен. Моё отличие лишь в том, что для меня стен не существует. И это не моя заслуга.

Впереди группа женщин-заключённых чистила улицу от снега. Широкими лопатами лагерницы соскребали снег к баракам, оставляя голую мёртвую утрамбованную в камень землю, будто расстилая передо мной и Крюгером чёрный ковёр. Мы как раз проходили мимо, когда одна из женщин, немолодая, очень худая, как все они здесь, – к тому же от голода её заметно пошатывало – выронила лопату и упала на четвереньки. Совсем рядом со мной.

Первым моим порывом, совершенно неосознанным, неконтролируемым, было помочь ей подняться. Я уже почти наклонился к ней, когда меня будто остро заточенным колом насквозь пробило понимание, ЧТО я сейчас собираюсь сделать. Да ещё Крюгер обернулся ко мне посмотреть, почему я замешкался. Я поспешно сделал вид, будто отряхиваю от снега полу шинели. Выглядело это, должно быть, преглупо, но, по крайней мере, вполне естественно, нормально.

На какой-то миг я встретился взглядом с заключённой. Удивительно, но она прекрасно поняла, что я захотел сделать и, главное, почему не сделал. И этого я тоже никогда не забуду: ей стало – мне до сих пор трудно в такое поверить, но телепату сложно ошибиться в подобных вещах – ей стало меня жаль.

Если бы я родился таким, как большинство, предназначенное жить среди глухих стен – прошёл бы я спокойно мимо? Не знаю.



Часть I

Воронов мост

Глава 1

Камень солнца

Тюрингенский лес, окрестности Рабенхорста

июль 1942 года

Чтобы посмотреть этому парню в лицо, надо было задирать голову, – однако сразу хотелось отвести взгляд. Во всяком случае, профессор Кауфман, археолог, именно так и сделал, на что приезжий понимающе усмехнулся, протянул жёсткую сухую ладонь и представился, сопроводив свои слова излишне энергичным рукопожатием.

Люди в мундирах приехали ещё до полудня. Они ходили вдоль отвалов, щёлкали фотоаппаратами, спрашивали о находках и неотлучно следовали за чиновником, который с неопределённым, но скорее довольным выражением глядел по сторонам, а напоследок прочёл профессору Кауфману, полжизни посвятившему археологии, лекцию о том, как следует проводить раскопки. Дилетантские поучения Кауфман выслушал безропотно: на этот визит он возлагал большие надежды. Профессору требовались деньги для дальнейших исследований. Кауфман знал, что чиновник оказывает покровительство археологам, сумевшим заинтересовать его своими проектами, и был уверен в успехе – почти уверен.

При чиновнике постоянно находился долговязый парень. Беседовали они между собой вполне по-свойски и составляли странную компанию: один – невзрачный человек средних лет, прилизанный и благопристойный, с тлеющей в уголках невыразительных губ скромненькой улыбкой, с покатыми плечами, внешне весь какой-то мягкий и податливый, но со стальным прищуром узких глаз; другой – здоровенный детина, худой и плечистый, этакая мачта с поперечиной, молодой до неприличия, немыслимо развязный, по малейшему поводу готовый разразиться столь диким хохотом, что у шедшего следом генерала всякий раз выпадал монокль. Общей в их облике была только одна деталь: круглые очки.

Чиновник в сером мундире носил звание рейхсфюрер¹ СС.

Парень же, представившись, не упомянул ни звания, ни должности. Но ещё до того, как он, отделившись от группы офицеров, шагнул к археологу, Кауфман ощутил, что видит вероятного соперника. Того, кто может отнять у него Зонненштайн.

– Моё имя Альрих фон Штернберг, – парень широко, радостно ухмыльнулся. Он казался ровесником тех студентов, что работали у Кауфмана на раскопках. В узком его лице, отличавшемся бледностью по-детски свежего золотистого оттенка, было ещё много мальчишеского. Но улыбался он отнюдь не по-мальчишески, странно, нехорошо улыбался, медленно растягивая крупный рот, будто его только что осенила какая-то безумная идея, которой он собирался ошарашить собеседника. Выше улыбки археолог старался не смотреть. Решительно невозможно выдержать взгляд, когда один глаз глядит, как и положено, прямо на тебя, а другой разглядывает чёрт-те что где-то в стороне – и притом ещё глаза разного цвета: один ярко-голубой, а

¹ Рейхсфюрер – высшее звание и должность в СС – вооружённых элитных формированиях нацистской партии Германии. (Здесь и далее примечания автора.)

другой изжелта-зелёный. «Господи, ну и чучело», – думал Кауфман. И ведь этот косоглазый исхитрился попасть в СС, куда заказана дорога людям с физическими изъянами.

Самого Кауфмана когда-то не взяли в армию из-за маленького роста.

– Я из «Аненербе», – добавил парень, откидывая с лица длинные светлые волосы. Его шевелюра была в невероятном беспорядке, словно у бродячего музыканта или свободного художника. Тем не менее парень носил чёрные офицерские галифе. Белая рубаша, распахнутая на груди, открывала круглый золотой медальон.

– Полагаю, вы знаете, что это за организация?

Кауфман знал. Его беспокойство обрело более определённую форму. «Аненербе», «Наследие предков», эсэсовское научно-исследовательское общество, президент которого – сам рейхсфюрер. Огромное количество гуманитарных и естественно-научных отделов, ведущих работы по всей Германии, – при том, что в академических кругах слова «Аненербе», «лженаука» и «шарлатанство» нередко обозначают одно и то же.

– Вы археолог, герр... гм, герр фон Штернберг?

«Мальчишка ты, а не «герр», – добавил про себя Кауфман, – такие выскочки, как ты, у меня на экзаменах обычно проваливаются».

Парень издал тихий смешок, от которого профессор вздрогнул.

– Нет, я не археолог, герр Кауфман. Но мои занятия можно в каком-то смысле сравнить с вашими. Я тоже ищу то, что скрыто.

Парень провёл ладонью по залитому солнцем боку каменной глыбы. Его подвижные длиннопалые руки могли принадлежать пианисту или хирургу, но скорее подошли бы фокуснику: на пальцах посверкивали тяжёлые перстни, и к тому же эти руки не знали покоя – либо выразительно жестикулировали, либо ловко вертели необычного вида трость с навершием, выполненным на какой-то древнеегипетский мотив – солнечный диск, растопыренные соколиные крылья.

– В каком отделе вы работаете, герр...

– Лучше просто Штернберг, герр Кауфман. Я ведь пока всего лишь студент. Я учусь в Мюнхенском университете. А вы преподаёте в Йенском? Кстати, сомневаюсь, что вам удалось бы засыпать меня на экзамене, герр Кауфман.

Несмотря на изнуряющую жару, археолог почувствовал лопатками холодный сквозняк. Вроде он ничего и не говорил эсэсовцу про экзамен. Только подумал.

– Расскажите об этом месте, герр Кауфман. О Зонненштайне. Почему оно так называется?

У парня был звучный, дикторский голос и лощёное берлинское произношение. Странно, что он из Мюнхена, подумалось Кауфману. Он и на баварца-то несколько не похож – слишком высок, слишком белобыс.

– Капище строили солнцепоклонники... Название пришло из древних легенд. Сказаниями о Зонненштайне занимался мой коллега, к сожалению, он... впрочем, неважно...

– Арестован. – На сей раз улыбка парня была очень жёсткой. И снова Кауфман вздрогнул – правда, лишь внутренне. Пять лет тому назад он добивался разрешения Берлинского археологического института начать раскопки, и ему тогда очень помог коллега, иностранец, с обширными связями в научных кругах. Позже Кауфман называл этого человека своим другом. Они вместе приступали к исследованию капища, уверенные, что совершают великое открытие – Зонненштайн был памятником не менее значительным, чем вестфальский Экстернштайн или британский Стоунхендж. Они в открытую критиковали бредовые идеи группы историка-дилетанта Тойдта, кстати, сотрудника «Аненербе», за которым стоял сам рейхсфюрер – эта группа изучала чуть ли не «магическое» значение Экстернштайна и намеревалась обнаружить таковое в Зонненштайне. К их мнению тогда прислушались, не отдали памятник сумасшедшим мистикам. А потом Германия вторглась в Польшу, и коллега Кауфмана, поляк и патриот, стал назы-

вать Гитлера преступником. Кауфман с ним соглашался. Арестовали их вместе. На допросе следователь попросил помощника принести молоток и гвозди, закурил, предложил сигарету Кауфману и спросил его: «А вот почему у вас такая продажная еврейская фамилия, господин профессор?» – «Я не еврей», – запротестовал Кауфман. Следователь подал знак помощнику, тот прижал правую руку Кауфмана к столешнице. Тогда следователь взял молоток и длинный, в тёмных разводах, гвоздь: «Сейчас проверим» – и преболыно ткнул остриём гвоздя под ноготь указательного пальца. «Заражение ведь будет», – как во сне пробормотал Кауфман. «А мы его спиртиком. Только для вас, господин профессор», – и следователь с улыбочкой полез в ящик стола за какой-то склянкой. Тут Кауфман уже не выдержал и старательно передал следователю все высказывания своего коллеги, даже такие, которых тот никогда не произносил. Кауфмана отпустили: нашлись те, кто за него заступился. Поляку обширные знакомства не помогли.

С тех пор работа продвигалась вяло. Этим летом дела пошли вовсе скверно – ученики Кауфмана уходили на фронт, самого профессора мучила застарелая язва желудка; у него и сейчас резало под ложечкой. Третьего дня пропал лучший археолог из его группы. Отправился поутру прогуляться по окрестностям и не вернулся – а Кауфману накануне приснился отвратительный сон: молодой археолог лежал навзничь в мелкой речной заводи, мальки вспарывали красновато-мутную воду над его лицом и юркали в глубокую кровавую яму на месте горла. Кауфман потом ходил к той заводи – за ольховой рощей, неподалёку от капища. Он недолго всматривался в прозрачную воду: чудилось, кто-то за ним наблюдает с другого берега, где повсюду высились гладкие, отвесные каменные склоны. Крутые откосы из золотистого песчаника зыбким сумрачным отражением опрокидывались в реку, уходя в тревожную тёмную глубину.

Парень внимательно глядел на Кауфмана сквозь криво сидящие на носу очки, пока тот рассказывал, как нашёл Зонненштайн. Несколько веков тому назад капище, находящееся в низине, было затоплено разлившейся рекой, но из-за недавно построенной плотины река сильно обмелела. Первыми сооружение обнаружили жители близлежащей деревеньки Рабенхорст, они-то и сообщили о торчащих из песка и высохшего ила огромных камнях группе Кауфмана, раскапывавшей под Штайнхайдом древние захоронения.

Парень протянул руку к папке с чертежами и картами, которую Кауфман носил с собой целое утро.

– Позвольте взглянуть.

Тем временем они обогнули внешний ряд мегалитов, обходя раскопы возле камней, вышли к восточному краю капища и направились к алтарю.

Кауфман любил повторять, что Зонненштайн похож на британский Стоунхендж. Принцип планировки был действительно тот же: огромные каменные конструкции огораживали пустое пространство широким кругом, а в центре имелось подобие алтаря. Но различий было больше, чем сходных мотивов. Вместо трилитонов площадку окружали гигантские цельнокаменные плиты, поставленные на ребро. Они располагались в три ряда в строгой последовательности: их высота увеличивалась по мере отдалённости от жертвенника – плиты внешнего круга были выше восьми метров, кроме того, плиты были расставлены таким хитрым способом, что с любой точки площади в проёмах между мегалитами первого ряда можно было видеть все последующие. Вообще, Зонненштайн с трудом подходил под определение кромлеха: слишком явно и широко был разомкнут каменный круг, образуя две отдельные дугообразные части – и это при том, что в целом, в отличие от Стоунхенджа, постройка была завершённой, и она нисколько не пострадала – следовательно, в задачу древних строителей входило именно то, что два крыла их грандиозного творения будут раскрыты, словно ладони, навстречу восходу солнца. Плиты при внимательном изучении оказались не прямыми, а вогнутыми, и это тоже, вероятно, было сделано нарочно: качество обработки поражало, камни изумляли гладкостью, невзирая на прошедшие тысячелетия – для этого сооружения время будто остановилось. Цен-

тральная часть капища, с алтарём, была вымощена удивительно точно подогнанными друг к другу кусками тёмно-серого гранита. Ни на одном из монолитов не виднелось никаких высеченных изображений. Без сомнения, комплекс являл собой нечто совершенно исключительное.

– Главная проблема вот в чём, – рассуждал Кауфман. – Все наши находки до странности однообразны. Кости животных, несколько римских монет... И ничего больше. Трудно поверить, что люди на протяжении тысячелетий избегали капища и его окрестностей. Думаю, если бы мы расширили территорию раскопок, то наверняка обнаружили бы немало интересного, но у меня не хватает рабочих рук...

– Погодите, а это что такое?

Они стояли на западном краю обнесённой каменными плитами круглой площади. Берег полого спускался к реке, блестящей на перекатах. На той стороне реки от самой воды в небо на головокружительную высоту вздымалась отвесная скала из песчаника, ярко-жёлтая на солнце. Она далеко раскинулась вширь, ровным изгибом охватывая поворот русла, так что, если смотреть с высоты птичьего полёта, излучина реки и низина на противоположном берегу лежали в ней, словно в чаше. Склоны утёса, без единого уступа, были столь гладкими, что казались едва ли не отшлифованными на манер мегалитов капища.

– Что это?

– Простите, где? – не понял археолог.

– Вон, впереди. Стена... – заворожённо произнёс парень.

– Какая стена? – недоумевал Кауфман.

– Да вот же, вон, какая огромная!

– Ах, это, – махнул рукой археолог. – Нет, это вовсе не стена. Природное образование. О да, я полностью с вами согласен, впечатляет. Но к рукотворным объектам не имеет никакого отношения. Обыкновенная скала. Местные жители именуют её Штайншпигель.

– Каменное зеркало? Поэтичное название. А ведь действительно будто зеркало... Не могла ли она в древности подвергнуться архитектурной обработке? Вы только поглядите, она же идеально вписывается в этот комплекс. Все эти каменные пластины святилища, они ведь словно вариации на одну тему...

Кауфман скупно улыбнулся: не в первый раз ему приходилось объяснять профанам в археологии, что именно древние строители, с научной точки зрения, способны были создать, а что – нет.

– При всём моём уважении к мастерству древних германцев, здесь будет метров тридцать в высоту и бог знает сколько в ширину. Даже при современной технической оснащённости крайне сложно проделать работу такого масштаба. Да и нужно ли? Это творение природы. Разумеется, нельзя исключать, что в древности скала была объектом религиозного поклонения и мегалиты капища создавались как имитация священной скалы.

– Но вы посмотрите, какая она ровная.

– Ветра и дожди порой работают лучше камнетёсов. Всё-таки вы наверняка провалились бы у меня на экзамене... герр... Штернберг.

– Разве стал бы я говорить такое экзаменатору? – парень усмехнулся, тряхнул головой. – Да, да... Разумеется, вы правы, – он перевёл взгляд на чертёж. – А что здесь обозначают пунктирные линии и точки?

– Углубления и отверстия в плитах мощения. Пока нам не удалось выяснить, для чего они предназначались. Вероятно, для каких-то временных деревянных сооружений. Я предполагаю, в них устанавливались опоры для навеса над жертвенником...

По правде говоря, Кауфману хотелось уйти с площади. В последнее время он редко ходил сюда, на само капище: здесь ему казалось, что боль в желудке мучает его сильнее, а полуденный зной, многократно отражённый от мощения и каменных глыб, мягко толкал его в душное

преддверие обморока, когда на долю мгновения мерещилось, будто он летит спиной в пустоту. Кауфман не раз замечал, что его неважное самочувствие словно передавалось изношенному механизму старых наручных часов, которые всё чаще то отставали, то убегали на десять, пятнадцать, двадцать минут вперёд.

Студент-эсэсовец снова ухмылялся, и эта шальная улыбка, просто дикая в сочетании с косоглазием, раздражала археолога всё больше. Ничего хорошего она не обещала.

– Я так понимаю, вы ещё не заявляли в полицию о пропаже учёного из вашей группы?

«Кто-то донёс, – мрачно подумал Кауфман. – Знать бы, кто...»

– Мне никто ничего не доносил, герр Кауфман.

– Тогда откуда вы знаете?

– Я много чего знаю. Мой вам настоятельный совет, герр Кауфман: не обращайтесь в полицию. Лучше, чтобы этим случаем занялось «Аненербе».

«Вот оно, начинается», – обречённо сказал себе археолог. Да эти господа просто приберут его открытие к рукам.

– Не беспокойтесь, вы не будете отстранены от работы. Но членство в нашей организации будет для вас наилучшим решением. И ещё кое-что: рекомендую вам незамедлительно заняться своим здоровьем, герр Кауфман. В противном случае ровно через месяц у вас случится прободение язвы, и тогда отнюдь не «Аненербе» будет виновато в том, что вы отойдёте от дел. Возможно, навсегда.

Кауфман словно бы с головой нырнул в ледяную воду.

– Откуда... откуда вы... В самом деле, с чего вы взяли? Вы что, смеётесь надо мной?

– В таких вещах я всегда предельно серьёзен.

Парень вновь устремил исковерканный взгляд на безмятежно-солнечные откосы скалы над рекой.

– Кстати, я забыл ответить на один ваш вопрос. Вы спрашивали, в каком отделе я работаю. В отделе оккультных наук, герр Кауфман.

Из чёрной тетради

Самое первое, легчайшее прикосновение до поры неведомой идеи я ощутил летом сорок второго, во время случайного посещения малоизвестного археологического памятника, в старых преданиях упоминаемого как Камень Солнца – Зоннеништайн. Тогда я собирался сопровождать рейхсфюрера в очередной его поездке к древнегерманской святыне Экстерништайну. И тут шефу поступило предложение ознакомиться с недавно расчищенной археологами древней постройкой, вероятно, ничуть не менее значительной.

Помешанный на романтике Гиммлер, у себя в Вевельсбурге² приказавший соорудить аналог артуровского Круглого стола для своих двенадцати приближённых генералов, с первого дня моей службы величал меня «мой юный Мерлин». Прозвание мне, конечно, льстило. Я до опьянения гордился собой. Я был блестящим студентом, талантливым исследователем, выдающимся экстрасенсом, работником ценным, успешным и перспективным, и, разумеется, высокооплачиваемым – в общем, наличествовали все поводы для хмельной самовлюблённости. В глаза меня уважительно характеризовали как «амбициозного молодого человека»; за спиной говорили: «парень с бешеным гонором». Некоторые меня уже боялись.

В то лето я часто ездил с Гиммлером на раскопки – шеф бредил германскими древностями и возил меня с собой, потому что сенситив способен подчас поведать о тайнах мегалитов гораздо больше историков. Мне довелось посетить множество археологических памят-

² Вевельсбург – замок, «духовный центр» СС.

ников, и Зоннеништайн был далеко не первым кругом больших камней из тех, что я видел, хотя и самым впечатляющим среди них.

И самым странным. Дело было не только в исчезновении археолога, на которое я тогда не обратил особого внимания – в окрестностях капища множество крутых откосов и тёмных оврагов, на краю которых запросто можно оступиться; я обещал профессору Кауфману, что этим случаем займутся наши специалисты, но они ничего не смогли выяснить. Им не удалось разгадать массивную, как колонны древнего храма, тишину этого необыкновенного места. Увы, и я не сумел прочесть его историю. Я положил ладонь на шероховатый, зернистый, горячий от июльского солнца камень, закрыл глаза. Если бы удалось очистить сознание от всех до единой мыслей, прошедшие века, возможно, заговорили бы со мной далёкими головами и сумрачными мимолётными образами. Но ничего не получилось. В моём отношении к этому капищу уже тогда был неопределённый опасливый интерес, мешавший достичь необходимой для психометрии отстранённости. Оно словно бы смотрело на меня, это сооружение. Да, именно смотрело. Это был гранитно-тяжёлый, давящий и как будто изучающий взгляд, который чувствовался спиной – лопатками, дугой позвоночника, всеми внутренностями. Не выдержав, я обернулся – но увидел лишь утёс над рекой. Возможно, профессор Кауфман тоже чувствовал нечто подобное: я видел, как он боится этого места – и в то же время как притягивает его к нему.

Я думал, что не скоро вернусь к этим камням – проекты по созданию оружия представлялись мне тогда гораздо важнее, чем ветхие тайны древних построек. Однако я заблуждался...

Мюнхен

24 августа 1942 года

– Мне следовало бы попросту устранить вас от работы.

– За что? За то, что я помог этому лазарету, который по какому-то недоразумению именуется гарнизоном Дьеппа, дать англичанам хорошего пинка?

– За нарушение приказа, за очередную неуместную инициативу – раз. За то, что вы окончательно убедили вермахт³ в том, что с нами нельзя иметь дел – два, – Лигниц, по своему обыкновению, говорил тихо, без интонаций, его сухое блёклое лицо, исчерченное преждевременными морщинами, ничего не выражало. Что стояло за его словами, Штернберг не мог услышать, прочесть, ощутить – любое обозначение в равной степени подходило к тому не имеющему названия чувству, которым они оба владели в равной степени, и потому были закрыты друг для друга. Но глаза Лигница за слюдяным блеском тонких стёкол были усталые и понижающие, и Штернберг знал, что начальник не собирается выгонять его со службы – ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо ещё.

– Если расставить вдоль побережья орудия хотя бы в половину мощности «Штральканоне», – Штернберг, подавшись вперёд, указательным пальцем несколько раз ткнул в стол, размашисто очертив ломаный контур береговой линии, – об опасности второго фронта можно будет забыть. Неужели генералы этого не понимают?

– Они понимают лишь то, что солдаты под действием этих лучей напрочь теряют голову. Становятся неуправляемыми. И что устройства типа «Штральканоне» будут поставляться не в вермахт, а в СС. Кто вам приказал стрелять по пляжу? Вы должны были использовать «Штральканоне» только в качестве зенитного орудия.

– Благодаря так называемому «нарушению приказа» танки не вошли в город! – запальчиво заявил Штернберг. – Разве этого мало? И с каких пор наши генералы беспокоятся о

³ Вермахт – вооружённые силы нацистской Германии.

душевном здоровье вражеских солдат? Я думал, им наоборот понравится, что англичане сами лезут на мушку. Просто в будущем следует изменить тактику, чтобы не страдали наши солдаты. Вообще, нужно как можно скорее представить проект фюреру...

– Ваш проект – чистейшая утопия, – вздохнул Лигниц. – Где вы наберёте операторов? Людей не просто со сверхчувственными способностями, а со способностями вашего уровня?

Штернберг снял громоздкие очки в стальной оправе, достал из кармана кителя мятый белый платок и принялся протирать круглые линзы, поглядывая на начальника из-под длинной чёлки. Он нарочно редко стригся – чтобы волосы падали на глаза.

– Операторы... в конце концов, можно организовать отбор, обучение. Это оружие будущего, штандартенфюрер⁴. И наплевать, что по этому поводу думают в вермахте.

– Вот и займитесь операторами, – снова вздохнул Лигниц. Его сухощавые нервные пальцы, перебиравшие бумаги, подрагивали больше обычного.

«У него явно какие-то крупные неприятности, – подумал Штернберг. – Интересно, кто ему насолил?» Некоторые подчинённые едва ли не в лицо называли Лигница слабаком, не справляющимся с обязанностями главы оккультного отдела «Аненербе». Штернберг так не считал. Он симпатизировал Лигницу и был демонстративно нагл с его недоброжелателями.

Штернберг надел очки, глянул на часы, потом на бумаги на столе начальника. Он узнал зигзагообразную подпись на одном из документов.

– Опять этот любитель попутать мертвецов? Что ему нужно на сей раз? Собирается перекопать все могилы Нордфридхофа⁵? Провести на стадионе массовый спиритический сеанс? Устроить в Доме искусства выставку мумий?

Лигниц отложил бумаги.

– Как у вас продвигается проверка на благонадёжность группы профессора Хельвига?

– Прекрасно, – неопределённо улыбнувшись, Штернберг вновь отогнул манжету над циферблатом наручных часов. – Разрешите идти, штандартенфюрер?

– Пока не разрешаю. Где ваше заключение? Вы должны были предоставить его ещё вчера. Кто-то предупредил англичан об испытаниях «Штральканоне». Дело не терпит отлагательств, сегодня звонили из гестапо...

– Заключение завтра, всё завтра, – Штернберг вскочил с кресла, – виноват, мне действительно надо идти. Кстати, у меня есть чудеснейшее предложение, – сказал он уже у двери, – проведите реформу отдела, ликвидируйте этот клуб гробокопателей, я в жизни не видел более бессмысленной и зловонной конторы...

– Рейхсфюрер считает подотдел Мёльдерса перспективным, – по-прежнему ровно произнёс Лигниц. – Занимайтесь своими делами.

В своём кабинете Штернберг поменял униформу – чёрный китель, белая сорочка и чёрный галстук, чёрные галифе, высокие сапоги – на костюм цвета дорожной пыли, купленный в недорогой лавке готового платья, и ботинки. Из оберштурмфюрера⁶ СС он превратился в двадцатидвухлетнего студента. Ипостась оберштурмфюрера нравилась ему гораздо больше: эсэсовец фон Штернберг заказывал костюмы в ателье, у него уже имелся собственный подотдел и собственный автомобиль, а студенту сейчас придётся ехать на трамвае. Чёрный цвет делал его старше и солиднее, чёрный был цветом его касты, и потому Штернберг пренебрегал новой, серой, формой, которую было принято носить в последние годы.

Пиджак оказался узковат в плечах, брюки коротковаты. Штернберг зажал под мышкой расхлябанный зонтик и потёртый портфель, ещё больше взлохматил и без того взъерошенные

⁴ Штандартенфюрер – звание старшего офицерского состава в СС, соответствовало званию полковника.

⁵ Нордфридхоф – одно из крупнейших кладбищ в Мюнхене.

⁶ Оберштурмфюрер – звание младшего офицерского состава в СС, соответствовало званию обер-лейтенанта (старшего лейтенанта).

волосы – жаль, в кабинете нет зеркала – вид у него сейчас, надо полагать, самый идиотский, то есть как раз такой, какой требуется. Он взял со стола авторучку, с удовольствием повертел в левой руке, перебирая в пальцах, прикрыв глаза. Это был его трофей. Ещё в Дьеппе он решил погадать на Хельвига и его учёных, водя рукой с маятником на тонкой нити над списком фамилий. Затем, по возвращении в Мюнхен, ему пришлось перебрать множество предметов, шатаясь по, к счастью, небольшому бюро Хельвига и делая вид, будто он ищет оставленную папку, – пока он не нашёл эту ручку, принадлежавшую человеку, который всегда аккуратно исчезал с рабочего места перед его приходом – как оказалось, недаром. Психометрия – что-то вроде умения видеть через пальцы. Берёшь предмет в левую руку и просто ни о чём не думаешь. Когда развеется туман собственных мыслей и чувств, в пустоте проступит бледными картинками, отзовется далёкими голосами всё то, о чём думал и что чувствовал тот человек, который прежде держал эту вещь в руках.

Так Штернберг узнал, кто именно из команды Хельвига сцеживает информацию союзникам. Его ровесник, тоже студент, белобрысый очкарик – правда, не самого высокого роста, неуклюжий и мешковатый. Однако маятник на мысленные вопросы Штернберга уверенными колебаниями («да» – «нет») указал, что агент, с которым у рохли была назначена встреча, прежде получал от него информацию через посредника, фотографии его не видел, а значит, существовала убедительная вероятность того, что подмена студента не будет замечена. Отчёт о психометрическом анализе Штернберг пока составлять не стал. Весь набор традиционных шпионских ужимок вроде зонтика под мышкой или дурацкого пароля он без труда считал с предмета – хозяин авторучки сильно волновался и только и думал, что о предстоящей встрече. Валленштайн, подчинённый Штернберга, должен был под видом гестаповца с минуты на минуту «арестовать» студента, едва тот покинет контору Хельвига, и посторожить пару часов в пустой квартире, пускай тот посидит и подумает над тем, каково это – быть предателем.

Доехав до Принцрегентенштрассе, Штернберг купил в ближайшем киоске свежий номер «Дер Штюрмер», мерзейшую газетёнку, которую по собственному желанию никогда б не взял в руки, и не торопясь направился в сторону реки. Страницы сверху он согнул углом. Было отчётливое ощущение, что за ним наблюдают с того момента, как он вышел из трамвая. Он остановился у широкого каменного парапета моста, бросил под ноги портфель, зажал зонтик под мышкой и раскрыл газету, облокотившись на парапет. Брезгливо пробежался взглядом по страницам. «Евреи – наша беда». «Близится тот день, когда еврейский сброд будет стёрт с лица земли». Коротенькие гавкающие статейки, истошные лозунги, непроходимо глупые письма провинциалов, карикатуры: паук с курчавой губошлёпой человеческой головой, с иудейской звездой на жирном брюхе сидит посреди паутины; еврей с похотливой ухмылкой связывает обнажённую светловолосую девушку; рыцарь разит мечом обезьяноподобных существ в советских пилотках – «Близится наша победа на Востоке». Развороты этого издания часто вывешивали на специальных досках в скверах и на многолюдных улицах. Штернберг скушаяще посмотрел поверх газеты на медленные серые воды Изара, на возвышавшуюся за мостом колонну с Ангелом Мира, поблёскивавшим на солнце тусклой позолотой. Подошёл крепкий человек лет сорока, с зонтиком, газета в его руке была с загнутыми углом страницами.



– Вы слышали о том, что у Максимилиана Йозефа было семеро внебрачных сыновей? Английский юмор, подумал Штернберг и ответил условленное:

– Нет, что вы, только четыре дочери.

Человек пристально посмотрел на него, и Штернберг остро почувствовал, что в кармане у незнакомца пистолет. Больше ничего прочесть не удалось. Он вслушивался до слабости в ногах, но рядом словно стояла стена, отгородившая все мысли незнакомца. Значит, у союз-

ников есть и вот такие агенты, мрачно подумал Штернберг. Я нарвался на сенситива. Интересно, что он умеет? Что видит, слышит, чувствует? Если он тоже психометр... Штернберг вытащил из портфеля папку и передал незнакомцу. Тот сразу раскрыл её и принялся очень пристально, очень подолгу изучать каждый документ – впрочем, бумаг в папке было совсем немного. Штернберг поглядывал на него, медленно листая газету. Глаза незнакомца были странно-пусты. Что, чёрт его возьми, он делает? Запоминает каждую страницу? Есть такие – с фотографической памятью. Теперь ясно, почему рохля согласился стащить у Хельвига важные бумаги – с расчётом на то, что сегодня же после обеда тихо вернёт их на место... Ну же, давай назад папку. Сейчас посмотрим, что ты за птица.

Как только незнакомец протянул папку, Штернберг так резко выбросил всё прочь из сознания, что закружилась голова. Коснулся папки – и увидел внутренним взором точную копию незнакомца, только в очках и чёрном костюме, человек сидел за ярко освещённым столом в тёмной комнате и быстро-быстро писал, что-то зарисовывал карандашом, ему подкладывали чистые листы бумаги, глаза его смотрели прямо, будто вдаль, в пустоту. Штернберг от удивления едва не выронил папку.

– С вами всё в порядке? – сухо поинтересовался незнакомец.

– Да... Душно, – пока Штернберг засовывал бумаги в портфель, незнакомец успел перейти дорогу. Проследить за ним? Вспугну ведь, одёрнул себя Штернберг, какой из меня шпион, а он наверняка почувствует... Тем не менее, выждав минуты две, Штернберг направился вслед за агентом, вниз по Виденмайерштрассе. Именно на этой улице, в мюнхенской резиденции «Аненербе», около трёх лет тому назад началась его карьера. С тех пор оккультный отдел разросся настолько, что переехал в особое здание.

Иногда Штернберг останавливался и касался земли рукой, стараясь уловить след. Газету он сунул в урну. Когда в очередной раз, присев, склонился, подошли двое полицейских.

– Ваши документы.

Чёрт. Штернберг выпрямился, заставив тем самым полицейских дружно задрать головы.

– Нет документов. Забыл.

Это была правда. Документы он благополучно оставил в кармане кителя.

Полицейские разглядывали его, будто пальму посреди баварского елового леса.

– Что в портфеле?

– Бомба с часовым механизмом, – осклабился Штернберг. – Пистолет с глушителем. И секретные документы.

– Ну-ка, верзила, пройдем с нами. Весельчак...

Полицейские завели его в переулок, где стоял чёрный автомобиль, и первым делом полезли в портфель. Папка с документацией на «Штральканоне» произвела на них, как и следовало ожидать, очень серьёзное впечатление. Они выразительно переглянулись.

– На Бриннерштрассе.

– Вот и отлично, господа, мне как раз именно туда и надо, – заявил Штернберг, подставляя запястья под наручники.

Из машины его провели через задний двор здания гестапо, которое прежде ему доводилось видеть только с улицы, прямоком в подвал, в помещение без окон. Усадили на стул. Напротив стоял громоздкий стол, за которым скоро нарисовался следователь с жёлтым отёчным лицом. До его прихода, пока охранник стоял в дверях, Штернберг, зажмурившись, во всех подробностях представил себе механизм замка. Ну же: щёлк!.. С третьей попытки замок наручников открылся.

– Чего у тебя, парень, с глазами? – первым делом лениво поинтересовался следователь, просматривая документы из штернберговского портфеля. – Мамаша в детстве головой вниз уронила?

– Нет. На таких, как вы, слишком долго смотрел.

– Шутишь, значит. Мы вот тут тоже очень любим пошутить. Кто таков?

– Оберштурмфюрер СС фон Штернберг. И прекратите тыкать.

От следователя удушливой волной прокатилось раздражение.

– Кто такой, спрашиваю!

– Оттон Великий, – процедил Штернберг.

Следователь, смерив его злым взглядом, потянулся к карману за пачкой сигарет.

– Не смейте курить в моём присутствии.

– Чего-чего?.. – рука следователя остановилась.

– Не выношу. И вообще, мне этот аттракцион надоел. Позвоните оберфюреру⁷ Зельману, он по понедельникам, я знаю, всегда здесь бывает. Внутренний номер я сейчас назову. Он вам скажет, кто я такой.

Следователь уставился на него, открыв рот. Захлопнул, снова распахнул:

– Уве!

Явился мордастый детина с лапами цвета кирпича. Штернберг неприятно рассмеялся.

– Слушайте, а вы не могли подобрать на эту должность какую-нибудь менее типичную особь? Просто цирк какой-то...

– Заткнись. Уве, растолкуй ему, как нужно отвечать на вопросы.

Штернберг успел стряхнуть наручники прежде, чем Уве размахнулся для удара. Вскочил, пинком отбросил стул и ткнул детину кулаком в солнечное сплетение. Из пробитой невидимой бреши хлынул энергетический поток, Уве закатил кабаныи глазки и мягко осел поперёк опрокинутого стула. Штернберг с вытянутой рукой обернулся к вцепившемуся в кобуру следователю.

– Звони оберфюреру Зельману, идиот. Не то я спалю к чертям собачьим весь этот ваш свинарник! – Штернберг согнул руку, поднеся к лицу, выпрямил указательный палец. На нём плясал яркий узкий язычок пламени, отражаясь в стёклах очков. Следователь перестал терзать кобуру и прислонился к стене. Штернберг подул на пламя, оно задрожало и исчезло. Он широко, хищно улыбнулся. Следователь, изобразив на потной физиономии ответное подобие улыбки, потянулся к телефону.

Этот же самый следователь, преля от страха перед крупнокалиберным выговором, отвёл Штернберга в кабинет на втором этаже. Впрочем, боялся следователь напрасно.

– Вы авантюрист! Глупец, мальчишка! Вы объясните мне когда-нибудь, что творится в вашей шальной голове?

Штернберг давно не видел генерала настолько рассерженным. Зельман медленно расхаживал от окна к столу, вколачивая в пол массивную чёрную трость и тяжело привлекая правую ногу – давным-давно, когда Штернберга ещё не было на свете, он получил серьёзное ранение на фронте во время Великой войны.

– Что, захотелось приключений? Захотелось пулю в лоб и чтобы труп сбросили в реку? Захотелось, чтобы все пальцы переломали в подвале? Благодарите бога, олух, что вы счастливо избежали и того и другого!

Штернберг с трудом удержался, чтобы не поджать пальцы сложенных на коленях рук – драгоценных, тренированных, музыкальных. Он неплохо представлял себе, что делается в подвалах гестапо, и ему, в общем, не было до этого никакого дела, его это не касалось и не должно было касаться. Вот только от упоминаний про сломанные пальцы всегда передёргивало.

Нужно было отдать Зельману должное: когда он увидел нелепое одеяние Штернберга и принесённые следователем документы, то почти не удивился и ни в чём таком не заподозрил, только поинтересовался, что всё это означает. Но когда Штернберг принялся хвастаться, как

⁷ Оберфюрер – звание высшего офицерского состава в СС, соответствующего звания в армии нет, примерный эквивалент – неполный генерал.

ловко скормил британскому агенту собственноручно состряпанную фальшивку, а тот слопал и не подавился, хотя и был, представьте себе, экстрасенсом, – вот тут генерал поднялся из-за стола, и Штернберг умолк на полуслове: в комнате будто бы сделалось на десять градусов холоднее.

– Думаю, этот ваш шпион с самого начала прекрасно понял, кто вы, и не разделался с вами только из жалости, – добавил Зельман под конец, прежде всего основательно выругав Штернберга за безрассудство. – А как не пожалеть такого феноменального болвана, который, надев за каким-то чёртом драный костюм, оставил на запястье золотые часы. – Генерал хлопнул его по плечу, Штернберг обернулся, скосил глаза и увидел, что тесноватый пиджак всё-таки треснул у рукава, вдоль шва, а затем уставился на выглядывавшие из-под манжеты часы в массивном золотом корпусе.

– Санкта-Мария... До чего же по-идиотски всё получилось. Как в плохом детективе...

– Вот-вот, – немного успокоившись, генерал сел обратно за стол. – Наконец-то вы вспомнили, что у вас, оказывается, есть голова на плечах. К сожалению, вы ею редко пользуетесь.

– Но, в конце концов, всё не так уж скверно, – Штернберг снова выпрямился в кресле. – Во-первых, мои люди задержали этого лаборанта, который работает на англичан. Во-вторых, фальшивка всё-таки проглочена, и к тому же я теперь где угодно найду этого человека, мне нужен только маятник и карта города, и как можно скорее, пока он ещё не уехал далеко, иначе всё здорово усложнится... Между прочим, англичане всю используют в разведке близнецов. У них ведь врождённая телепатическая связь, её просто надо развить... Пока мы в своём отделе сидим и думаем, как протолкнуть наших телепатов в разведку, англичане преспокойно работают!

Зельман молча смотрел на него.

– Альрих, – произнёс наконец генерал. – Если кто-нибудь нажмёт на спусковой крючок, пулю вы, при всех ваших редкостных талантах, не остановите. Как и осколок снаряда. Какой кретин послал вас в Дьепп? Лигниц? Хельвиг?

– Лигница не беспокойте, у него и так слишком много проблем. Я поехал туда по собственному желанию.

– Так я и думал. Ну что, посмотрели, как это бывает? Несколько граммов свинца, и из человека получается кусок тухлого мяса. В следующий раз, прежде чем ввязаться в очередное безумное предприятие, вспомните об этом.

– Нашим солдатам обычно советуют вспоминать о других вещах. Например, о том, как почётно умереть за родину, за фюрера...

Зазвонил крайний из трёх телефонов. Зельман приподнял трубку и грубо вбил обратно на место. Штернберг опустил голову.

– Простите, мне не следовало этого говорить.

– Действительно не следовало, Альрих, – сказал генерал. Он всегда обращался к Штернбергу только по имени, и тот не имел ничего против. Зельман был невысоким человеком лет шестидесяти, широким не от возраста, а от природы, с довольно угрюмым, несколько бульдожьим лицом, и худощавый, диковато ухмыляющийся по любому поводу Штернберг несколько не походил на него, но, тем не менее, их иногда принимали за родственников. Штернбергу это отчего-то нравилось.

– Ладно, вернёмся к делу, – Зельман разложил на столе карту города. – Вам, наверное, нужно съездить за инструментом?

– Инструмент у меня всегда при себе. Мне нужно к нему лишь какую-нибудь нить. – Штернберг достал из нагрудного кармана один из тех драгоценных перстней, что обычно унизывали его пальцы. Затем стащил с носа очки и без надобности принялся протирать их скотканым платком. Он часто хватался за очки: что-то вроде нервного тика, то, что в самоуверенном эсэсовце осталось от неустроенного студента. Без карикатурно-больших круглых очков,

вызывающую нелепость которых наверняка следовало расценивать как самоиздевательскую, лицо Штернберга разом теряло весь налёт гаерского веселья, становилось строже, благообразнее – даже невзирая на фатальный недостаток. С опущенными глазами, прикрытыми тенью густых золотистых ресниц, это была уже не шутовская физиономия, а лицо аристократа – изысканно-удлиненное, с совершенными чертами, прямым носом и властным ртом.

Глядя вот на такого, почти незнакомого Штернберга, Зельман вспоминал, что перед ним не крестьянский сын или мелкий бюргер, каких в СС большинство, а потомок древнейшего рода баронов Унгерн-Штернбергов, ведущего происхождение ещё с середины первого тысячелетия, рода рыцарей, уходящего корнями во тьму глухих веков, в дебри полузабытых сказаний, рода крестоносцев, разбойников, алхимиков и святых.

Штернберг старательно обходил любые разговоры о том, что послужило причиной его вступления в СС. Его односложные и уклончивые ответы обычно можно было расценивать как угодно. Однажды он обмолвился, что «Германия на свете только одна, какая бы она ни была» и «пусть она лучше будет со мной, чем без меня». В конечном счёте, что бы ни послужило истинной первопричиной для его решения, Зельману и в голову не пришло бы делать какие-то замечания по этому поводу. Тем не менее Штернберг избегал этой темы очень тщательно.

* * *

До июля 1940 года Зельман пребывал в уверенности, что является главой самой серьёзной и влиятельной из всех структур рейха, имеющих отношение к изучению (применительно к его ведомству скорее пресечению) сверхъестественных явлений. Мелкие группки профанов, каких всегда хватало в недрах СС – «мистицирующие», как называл их Зельман – не могли сойти даже за подобие конкурентов. Входящая в СД группа под названием «Зондеркоманда Н», изучавшая историю ведовства и судебные процессы над ведьмами, имела дело исключительно с документацией. Общение с самими «ведьмами» было прерогативой Зельмана и его «Реферата Н».

Правда, имелся ещё некий «учебно-исследовательский отдел оккультных наук» в составе «Аненербе». Существование его, в отличие от «Реферата Н», особо не скрывалось – о нём даже было написано в памятном издании «Аненербе» 1939 года, где уточнялось, что отдел занимается изучением астрологии, хиромантии и прочих подобных дисциплин, – но многие, зная всю глубину пропасти, отделявшей амбиции «Аненербе» от далеко не блестящего положения дел в исследовательском обществе, резонно полагали, что таинственный отдел присутствует лишь на бумаге.

Так же считал и Зельман, а потому был в высшей степени заинтригован, когда ему предложили поглядеть на «настоящего мага из “Аненербе”». Зрелище, как клятвенно уверяли, достойно было даже того, чтобы ради него поехать на очередную мюнхенскую выставку шедевров «национального искусства», которую собирался посетить Гиммлер со свитой. Зельман подозревал, что «магом» окажется не совсем вменяемый субъект со странностями, способными всерьёз заинтересовать кроме Гиммлера разве что врачей психиатрической лечебницы. Но всё-таки поехал.

Гиммлер лично представил Зельману своего оккультиста. Должно быть, рейхсфюреру казалось очень забавным знакомить старого инквизитора с юным ведьмаком. Над ситуацией и впрямь можно было вдоволь поиронизировать: представители двух совершенно взаимоисключающих кланов, но, тем не менее, работники единой организации, жали друг другу руки, а Гиммлер разглагольствовал о том, что оккультные науки и занятия магией официально запрещены по всей Германии, поскольку они – привилегия, принадлежность элиты, и лишь элите – то есть СС – надлежит сохранять и развивать их.

Новоявленный оккультист оказался, к полному недоумению генерала, сущим мальчишкой в чине унтерштурмфюрера⁸, но уже с лентой креста за военные заслуги второго класса в петлице чёрного кителя.

Гиммлер подвёл Зельмана к полотну Циглера и поинтересовался его мнением о новой картине. Зельман отделался чем-то благожелательно-нейтральным. Гиммлер выжидательно посмотрел на долговязого парня. Тот открыл радостно улыбающийся рот – как позже выяснилось, к несчастью для окружающих он вообще редко когда его закрывал – и принялся по клочкам разносить одного из любимейших художников фюрера. На глазах у шефа имперской полиции полоумный офицерик растаптывал святое и неприкосновенное, за пять минут заработав себе концлагерей на десять жизней вперёд. Даже за самую деликатную критику «арийской живописи» можно было запросто получить личный номер на грудь и прописку в «кацет»⁹ на всю оставшуюся недолгую жизнь. Гиммлер тихо наблюдал за Зельманом. Возможно, стремительно бледневшее лицо генерала и впрямь являло собой весьма занятное зрелище. Ведь самое дикое заключалось даже не в том, что юродивый офицерик в присутствии хозяина концлагерей смешивал с грязью неприкосновенного арийского живописца. Зельман думал как раз о Циглере, и думал очень плохо. Циглер, которому Господь напрочь отказал во всяком подобии таланта, обыкновенно писал обнажённую натуру и делал это с маниакальной, чудовищной педантичностью – за что получил нелестное прозвище «художник немецких лобков». Мальчишка буквально повторял мысли Зельмана вслух. И ему всё стало ясно. Парень представлял собой то, что на жаргоне «Реферата Н» называлось «пеленгатор»: он был талантливейшим телепатом, способным не только улавливать чужие мысли, но и с лёгкостью определять их носителя. Офицерик слово в слово повторил всё то, что у Зельмана язык чесался произнести.

– Рекомендую вам, Зельман, воспитывать ваши художественные вкусы. Учтите, скоро я буду знать мысли всех и каждого, – сухо сообщил Гиммлер и вновь посмотрел на парня.

– Это будет сущий ад, рейхсфюрер, – невинным голоском произнёс офицерик, улыбаясь помрачневшему Зельману.

Потом они шли по светлым залам, и Зельман, с возрастающим изумлением слушая невообразимую трепотню молоденького офицерика, внутренне метался от острого желания надавать парню затрещин и тем самым привести его в состояние, быть может, более соответствующее окружающему миру, до жгучего намерения любым способом выцарапать это сокровище из «Аненербе» и сделать его своим заместителем в «Реферате Н». Кажется, дело тут обернётся сотрудничеством, решил в конце концов генерал. И притом сотрудничеством долгим и успешным.

Из чёрной тетради

В сущности, рано или поздно я всё равно предстал бы перед эсэсовцами – если не в качестве нового сотрудника, то в качестве подозреваемого или обвиняемого. Думаю, в тридцать девятом Зельман уже знал о моём существовании – во всяком случае, о существовании некоего человека, обитавшего в одном из пригородов Мюнхена, в квартале старых особняков, а выяснение личности было лишь вопросом времени. Дело в том, что блокляйтерам¹⁰ этого квартала подозрительно часто не везло.

Первый блокляйтер, трусливое, склонное к мелким пакостям животное, поначалу трепетал перед моим отцом – причиной тому был грозный отцовский нрав да холуйское пре-

⁸ Унтерштурмфюрер – звание младшего офицерского состава в СС, соответствовало званию лейтенанта.

⁹ «Кацет» – так в Германии называли концлагерь, по двум латинским буквам слова (KZ).

¹⁰ Блокляйтер – партийный функционер, лидер блока (40–60 семей), в обязанности которого входила национал-социалистическая пропаганда и выявление распространителей вредных слухов.

смыкание партийца перед всем «аристократическим». Ему не раз доносили, что мой отец называет главу государства не иначе как «этот мелкий лавочник». Поначалу блокляйтер пропускал подобные сообщения мимо ушей, но тяжёлая болезнь отца и наша нищета вскоре связали этому ничтожеству руки. У него была лишь одна страсть, не считая выпивки: он обо- жал вызывать своими словами опасливую настороженность в глазах мужчин и жалобный испуг (лучше со слезами) в глазах женщин. Моя мать, не проронившая ни слезы даже тогда, когда мой отец, едва разомкнув одревеневшие губы, повелел привести священника (она отрезала: «Нет», и, я думаю, только поэтому отец выжил), блокляйтера холодно игнорировала, что выводило мерзавца из себя. Ему неинтересно было просто донести на нас. Он пытался запугивать, пытался насмехаться. Спрашивал у моей матери, как здоровье мужа, и тут же добавлял, что инвалиду в случае ареста придётся несладко. Лично вручал мне бланки вступления в гитлерюгенд (тогда членство в этой организации уже было повальным, но ещё не являлось обязательным), чтобы после либо с издевательским участием поинтересоваться, не отказали ли мне из-за моего косоглазия, либо порассуждать о нашей «спеси» и в сотый раз пригрозить сообщить о нас «куда следует». Такие бланки тогда распространяли и в гимназии: «Почему ты ещё не в гитлерюгенде? Если ты за Гитлера и гитлерюгенд, заполняй бланк. Если не хочешь вступать, напиши о причинах...». Я вообще ничего не писал.

Потом, после истории с моей сестрой, блокляйтер над нами измывался уже в открытую. «Неудивительно, что барон так сдал. Подумать только: сын – урод, а дочь – шлюха». То, что я однажды наговорил в ответ на очередное его оскорбление, уставившись ему в глаза, – теперь я понимаю – было настоящим, образцовым проклятьем, пущенным в упор. В тот же день блокляйтер отравился, вскоре сломал обе руки, затем у него сгорел дом. Затем он исчез куда-то – говорили, он был арестован, – и на его место пришёл новый. Этот не докучал нам целый год, а потом регулярно посещавший моего отца доктор донёс блокляйтеру о том, что отец сравнивает партию со свинофермой. И тогда история повторилась.

Кроме того, я опрометчиво взялся практиковаться на главных осведомителях блокляйтера, которых начали одолевать разнообразные недуги – то поочерёдно, то всех вместе. Я всё отчётливее осознавал свою силу, могущую стать незримым оружием против всех тех, кто пытался опорочить нашу обнищавшую, увязнувшую в долгах семью, лишить нас последнего, что ещё оставалось – доброго имени да ветхого дома, где высокие сумрачные потолки с потрескавшейся лепниной нуждались в штукатурке и побелке ещё, должно быть, с кайзеровских времён. Я тайком ходил в публичную библиотеку, чтобы прочесть все книги об оккультизме, которые мне только удавалось найти. Кое-что записывал в тетрадь, зарисовывал различные символы. И учился. Пытался повторять некоторые действия, описанные в книгах, и воспринимал как должное то, что всё у меня получалось очень легко.

Третий блокляйтер вёл себя осторожно, и он-то, будучи человеком неглупым, в конце концов сообщил «куда следует» и «что следует».

После зачисления в университет я сам слёз с неизвестной хворью – с жаром, ломотой в костях, постоянным кровавым привкусом во рту – проклятья непременно возвращаются к тому, кто их произносит, а я тогда не умел защищаться. В первый раз после болезни выйдя на улицу, я почувствовал, что за нашим домом следят. Позже я узнал, что это были инквизиторы Зельмана. Он в середине тридцатых возглавил независимую группу «Реферат Н» в составе гестапо, позже переформированную в отдел IVН, фигурировавший лишь в секретных документах рейха. Работников этой структуры остроловы окрестили «Hexenjäger» – «охотники на ведьм». Отдел был создан для выявления и ареста людей со сверхъестественными способностями, оппозиционно настроенных по отношению к режиму.

Я решил не дожидаться инквизиторов.

Деканом философского факультета Мюнхенского университета, где я тогда учился, был Вальтер Вюст. По совместительству он являлся куратором исследовательского общества «Аненербе» и отвечал, помимо прочего, за приём туда новых сотрудников.

Я просто однажды утром заявился к декану в кабинет и попросил, нет, потребовал от него представить меня самому Гиммлеру. Когда Вюст в бешенстве заинтересовался, на каком таком основании студенту нужна аудиенция самого рейхсфюрера СС, я охотно продемонстрировал декану, что я умею. У декана едва не сгорел письменный стол, а сам он получил ожог руки.

Через два дня Вюст вместе со мной выехал в Берлин.

Помню так отчётливо, будто всё случилось вчера: я стою на крыльце нашего дома. Вернее, уже не «нашего». Дома моих родителей. В одной руке у меня чемодан со сменой белья, предметами личной гигиены и несколькими книгами, на сгибе другой – чёрная шинель. Дверь за мной только что захлопнулась. Это был первый раз, когда близкие увидели меня в мундире той организации, которой я служу.

«Никогда – слышишь, никогда! – я не пушу на порог своего дома нациста, – сказал отец. – Ступай куда хочешь, но твоей ноги здесь больше не будет. Ты мне не сын. Убирайся!».

Никто уже не отворит дверь, не окликнет меня, не позовёт назад. Этого не сделает даже мать – хотя, я слышу, какая-то часть её сознания отчаянно желает вернуть меня. Но слово отца здесь закон. А отец давно, обречённо, со стыдом ждал, что я рано или поздно совершу нечто невообразимое...

Я до боли в пальцах сжимаю ручку чемодана. Передо мной расстилается пустота уводящей в призрачность тумана улицы, по которой мне теперь надлежит отправиться в самостоятельную жизнь.

Вот так всё и началось.

На первых порах я собирался снимать квартиру. А как только позволят финансы – купить собственное жильё. О, финансы мне с самого начала позволяли непривычно многое. Жалованье мне назначил сам рейхсфюрер. На службе меня уже ценили – настолько, что не проявляли (во всяком случае, пока) никакого интереса к тому, что за моими родственниками не раз были замечены антинацистские высказывания. Но я знал, гестапо не будет долго терпеть. Поэтому, едва только появится возможность, я собирался сделать следующий ход. Несмотря на отцовский запрет, мне всё же предстояло возвратиться в этот дом, чтобы уговорить их всех, разом отрезавших меня от своего мира, уехать отсюда в какое-нибудь безопасное место.

Мюнхен

январь – февраль 1943 года

Проект «Штральканоне» закрыли, когда погиб профессор Хельвиг. Долгое расследование ничего не дало: судя по всему, это действительно был просто несчастный случай на испытаниях новой установки.

– Пока с этим оружием могут управляться только сильнейшие экстрасенсы рейха, а их можно по пальцам одной руки пересчитать, – сказал Хельвиг Штернбергу при последней встрече. – Мы должны создать оружие, которое будет обслуживать обычный расчёт немецких солдат.

Все наработки Хельвига решено было передать группе физиков из Людвигсхафена, которые тоже сотрудничали с оккультным отделом «Аненербе», причём уже давно, – с большим подотделом штурмбаннфюрера¹¹ Мёльдерса.

¹¹ Штурмбаннфюрер – звание старшего офицерского состава в СС, соответствовало званию майора.

– Апогей дьявольской бессмыслицы, – говорил Штернберг об этом решении, не скрывая того, что считает свой крохотный подотдел полноправным наследником бюро Хельвига. Но Штернберг был слишком молод для того, чтобы возглавить проект уровня «Штральканоне». И тогда он взялся за создание собственного проекта. Ему не давала покоя мысль о британских близнецах-агентах, одного из которых арестовали в августе прошлого года на мюнхенском вокзале, – о людях, мгновенно передающих друг другу информацию из любой части света.

Время было не самым удачным для новых начинаний. В обход обтекаемых заголовков газет и бравурных радиоречей ползли разговоры о невиданных потерях под Сталинградом, который ещё несколько месяцев назад должен был пасть, но имя этого злополучного города упорно возникало вновь и вновь, выплывая из тумана слухов подобно кораблю-призраку, чьё появление, как известно, не сулит удач. Приход нового года ознаменовался расстрелом нескольких астрологов – не из «Аненербе», – опрометчиво пообещавших немецким войскам скорую победу, зато был выпущен из-под домашнего ареста начальник подотдела оккультной прогностики, ещё в конце лета предупреждавший об очень тяжёлой фронтальной зиме.

Позже Штернбергу казалось, что всё в те дни предвещало нечто значительное. Он был одержим идеей телепатической передачи разведанных и искал способ пробудить скрытые сверхчувственные способности обычных людей.

Лихорадка научного изыскания захватила его целиком, не оставляя времени ни для еды, ни для сна. Часто он оставался на ночь в институте – да и не хотелось идти в недавно приобретённую мюнхенскую квартиру, огромную, прекрасно обставленную, но совершенно нежилую. Никто и ничто не тревожило: сотрудники не нарушали его сосредоточенное уединение, учёба в университете на тот момент не представляла для него уже никакой проблемы, временно он мог позволить себе забыть о ней, так как по личному распоряжению Вальтера Вюста, куратора «Аненербе» и, с июля сорок первого, ректора Мюнхенского университета, изыскания Штернберга зачитывались за университетскую научную работу.

Он ещё не знал, к чему приведут поиски, но уже смутно представлял себе некий прибор – не курения, не ядовитые порошки по забытым рецептам – а нечто современное, некое техническое устройство, и хитроумное, и обескураживающе простое, предназначенное из любого человека сделать на время настоящего мага. Существовало ли у древних что-то подобное? Посмотрим: зеркала прорицателей. Зеркала для святочных гаданий у русских. Индийские священнослужители пользуются вогнутыми зеркалами с позолоченной поверхностью. Так называемое Зеркало Соломона из полированной стали – и ныне довольно распространённое магическое приспособление. Вогнутое зеркало собирает в своём фокусе астральный свет, и человек, находящийся перед таким зеркалом, приобретает способность к ясновидению – очень интересно, надо будет проверить на практике. Золотые и серебряные зеркала, найденные в захоронениях перуанских племён. Бронзовые, с полированным дном, священные котлы древнегреческих жрецов. Таинственное зеркало учёного-монаха Роджера Бэкона – уж не являлся ли необычайно прозорливый францисканец, знаменитый своими мистическими озарениями, ясновидящим, заглядывавшим в далёкое будущее? Зеркала флорентийских академиков семнадцатого века, способные отражать и концентрировать холод ледяных глыб. Любопытно, в сущности, вогнутое зеркало – своеобразный приёмник и передатчик, причём далеко не только видимого света, любых излучений – в том числе и излучений Тонкого Мира? Интересная мысль, но что дальше?..

Штернберг огляделся, жестом крепко задумавшегося школяра запустив пальцы в гущу волос на затылке. Взгляд упал на раскрытый свежий номер «Германии», лежавший поверх стопок книг – он отложил его, чтобы позже ознакомиться: было там что-то любопытное, касающееся работы шеферовского отдела Центральной Азии, кажется, отдел преобразовывается в целый институт – журнал был открыт как раз на начале этой статьи. Там была помещена и фотография самого Эрнста Шефера, ещё времён его тибетской экспедиции тридцать вось-

мого года, наделавшей столько шума, – Шефер, бородатый и весёлый, в меховой шапке, на фоне каких-то тибетских гор, а точнее, на фоне одной огромной скалы... *«Боже правый, да я ж собственными глазами это видел!»*. Край обрыва шёл от одного угла снимка до другого ровной чашей, обнимая склонившееся к нему небо. Скала была вогнутой и идеально ровной. Штернберг потянул к себе журнал. Похоже, совсем не случайно Шефер сфотографировался на фоне именно этой скалы. Вогнутая и совершенно гладкая. Как зеркало мага. *«Да где же я видел подобное?»*. Припомнились солнечные блики, струящиеся по жёлтым откосам, запах мокрого песка, жара, влажный, тинистый, камышовый ветер с реки, вялая возня голых по пояс людей на каких-то раскопках, огромные древние камни. Как там называлось это место?..

Вскочив, он потянулся через башни книг к телефону и поставил его перед собой на раскрытый журнал.

– Хаймар?.. Да, это я. Будьте добры, свяжитесь с центральным архивом и закажите все отчёты Шефера по тибетской экспедиции. Я особенно подчёркиваю – все – включая фотоснимки, киноматериалы, абсолютно всё, что только там найдётся, до последней дрянной бумажонки. Да, и ещё: мне срочно нужны все данные по Зонненштайну. Любые публикации, исследования, записи местных легенд, всё, что угодно... Зонненштайн. Это археологический памятник на юге Тюрингии. Что-то вроде капища, большое сооружение, очень древнее...

Штернберг улыбался, глядя в стену перед собой и видя вместо неё озарённую солнцем отвесную плоскость скалы, огромное каменное зеркало, вогнутое зеркало, по свидетельствам древних авторов, способное помочь обычному человеку обрести ясновидение. Он уже ясно представлял себе, как будет выглядеть его новое устройство: простая система вогнутых зеркал, возможно, совсем небольших, гигантские здесь, наверное, ни к чему. Он знал, что предстоит ещё немалая работа по подбору геометрических параметров, по расчёту их местоположения, он ещё не понимал толком, как это будет работать, но уже был совершенно уверен – это сработает. И, кроме того, его ждал отдельный роскошный приз, венчающий всю эту идею, – загадка древних монументов, ключ к которой, кажется, теперь тоже был у него в руках.

Тюрингенский лес, окрестности Рабенхорста

11 февраля 1943 года

Из-за непогоды археологические работы приостановили, и капище было тихим и безлюдным, словно тысячи лет назад, когда ходить к нему воспрещалось всем, кроме неведомых слугителей. Медленный снег опускался с серой хмари неба на чёрную гладь реки. Мегалиты стояли тёмные, строгие, загадочные. Скала Штайншпигель, обледеневшая у основания, уходящего в воду, и тоже потемневшая, посуровевшая, казалась сейчас настолько рукотворно гладкой, столь идеально отшлифованной, что Штернберг лишь диву давался, как тогда, летом, мог безропотно согласиться с коротышкой-археологом, ничего не видевшим дальше своего учёного носа и ничего не замечавшим кроме привычных мослаков да черепков.

Тишина давила на уши. Падающий снег поглощал все звуки.

Скала смотрела на него – так, как смотрит на ребёнка густая тьма из распахнутой в ночь двери – многооко, пристально, сковывающе. Хочешь, но не в силах отвести взгляд – а если всё же отвернёшься, то мучительно леденеет спина, и уже очень скоро оборачиваешься назад, затаив дыхание от необъяснимого страха.

Беззаботно насвистывая, он оглядел скалу от края до края. Неубедительная мелодия тонула в густой тишине. Если предположить, что это и впрямь огромное магическое зеркало, то требуется встать в его фокус, дабы получить необходимый эффект. Допустим, это творение рук человеческих, положим, эта штука была создана для того, чтобы концентрировать энергии Тонкого мира и с их помощью активизировать у людей сверхчувственное восприятие. «Разумеется, мне-то такая активизация ни к чему, но что-то я наверняка должен ощутить. Попро-

бует, а там видно будет», – решил он. Интересно, где тут этот фокус? Ответ напрашивался сам собой: там же, где и алтарный камень. Если прикинуть в уме план территории, место представлялось вполне подходящим. Ну что ж, сейчас посмотрим.

Алтарь, припорошённый снегом, по форме напоминал большой низкий стол, на котором при желании мог свободно улечься любой человек, даже очень высокого роста. Штернберг нарочито раскованно обошёл камень, лечь, разумеется, не стал, а поднялся прямо на жертвенник и встал ровно посередине. Постоял, хмыкнул, пожал плечами. Да, затея с самого начала отдавала бредом. Конечно, всем свойственно ошибаться, но это как-то слишком. Стоит только здраво подумать о том, сколько народу и сколько времени потребовалось бы для обтёсывания скалы таких размеров. Чем они её, оленьими рогами скребли? Каменными топорами тюкали? Ну, чушь же, чушь собачья. Штернбергу было жаль потраченного зря времени. Сорвался из Мюнхена ко всем чертям, зачем, спрашивается? Он с досадой поглядел на циферблат наручных часов. Часы стояли. Его прямо-таки подбросило от раздражения. Ну не везёт так не везёт. Швейцарское качество, чтоб его. Золотой корпус, бриллианты. На эти часы автомобиль купить можно. Чёрт бы их побрал. Он постучал ногтем по циферблату, потряс рукой, приложил запястье к уху. Мёртво, как в могиле.

– Прекрасно! – саркастически воскликнул он, но не услышал собственного голоса. Внезапный испуг был обжигающим и хлётким, как удар крапивным стеблем.

– Кажется, у нас проблемы, – отчётливо произнёс он и опять не услышал ни звука. «Проклятье, у меня что-то со слухом, – с оглушающим ужасом подумал он. – Или же с голосом. Или и с тем, и с другим». Он крикнул без слов, до предела напрягая голосовые связки, но результат был такой же, как если бы он являлся глухим от рождения. Глаза тем временем прямо-таки ломило от немыслимой неестественности вокруг; он изумлённо вздохнул, млея от какого-то неназываемого чувства, сродни вкусу сновидения из детства.

Мир остановился. Мир застыл. Из самого сердца Вселенной некто всемогущий изъяс сам принцип движения, и снежные хлопья, ещё минуту назад медленно опускавшиеся к земле, сейчас замерли в воздухе, словно на фотоснимке. В этом нарушении всех земных законов было что-то настолько величественное, что он долго стоял, не смея пошевелиться. За недвижимой завесой снега почти неразличимы были монолиты, огораживающие капище. Казалось, вовсе уже ничего не существует, кроме торжественного сна снежного безмолвия.

Глупо улыбаясь, он сгрёб в горсть россыпь снежинок, поднёс к лицу. Они охладили кожу, но не таяли. Он дунул, и снежные хлопья, разлетевшись, замедлили движение и вновь застыли на сюрреалистическом полотне мира без времени. «Как же так, – всё больше веселясь, подумал он, – что же такое происходит, если это ход времени прекратился, то как я дышу, как я существую, почему в теле не остановился обмен веществ?..» Он потёр ладони – они были тёплыми. Вспомнил про перчатки, обронённые, когда началась вся эта чертовщина. Наклонился и увидел их не долетевшими до земли, зависшими на полпути вопреки всем законам притяжения.

Тем временем всё вокруг плавно пришло в неспешное движение: снежные хлопья тихим ходом устремились обратно к смутно-серым небесам. Они отделялись от снежного покрова и медленно поднимались ввысь. Снежинки срывались и с чёрного сукна шинели, высвобождаясь из микроскопических волосков шерстяной ткани, и уплывали всё выше и выше. Часы на запястье вздрогнули и мерно пошли в обратную сторону. Маховик времени крутанулся вспять.

– Санкта-Мария, – только и сумел пробормотать Штернберг. – Господь Всемогущий!

Вдруг воздух, словно гранатой, разорвало чьим-то оглушающим истошным воплем. Не успел Штернберг толком испугаться, как кто-то за спиной хрипло произнёс скороговоркой: «Кажется, у нас проблемы», и вслед за этим кто-то ещё в паре метров от него ядовито прокомментировал: «Прекрасно!» Голос показался незнакомым, к тому же за каждым звуком колыхалось странное смазанное эхо – поэтому Штернберг не сразу узнал свои собственные слова, затерявшиеся в расслоившемся и скомканном времени и пространстве.

Вокруг происходило что-то противоестественное. Рябящий снегом воздух потемнел и наполнился неясными скрипучими звуками. От пронзительного холода онемели пальцы и заломило в висках. Изумление быстро уступало место самому чёрному, животному страху. Продолжая играть деловитое спокойствие экспериментатора, хотя всё внутри уже дрожало и ходило ходуном, Штернберг достал из кармана компас. Обычно на Зонненштайне магнитные приборы не выкидывали никаких фокусов, но сейчас стрелка плясала и вертелась во все стороны как бешеная.

– Чёрт знает что, – произнёс он. Голос прозвучал глухо, словно в противогазе. Нервы уже сдавали, хотелось бежать без оглядки – но куда? Обняв себя за плечи, он ещё раз осмотрелся – паника боролась с любопытством, и оно пока брало верх – а вокруг становилось всё темнее, снег беспорядочно мельтешил, носясь сразу во всех направлениях, в ушах нарастал сиплый и глухой монотонный рёв, напоминавший эфирные помехи исполинского радиоприёмника, виски и затылок сдавило, и он с ужасом почувствовал, что, кажется, начинает терять сознание. Он шагнул вперёд, но не ощутил под ногами никакой опоры. Вдруг перестало существовать само понятие верха и низа, исчезло всякое направление, протяжённость пространства сжалась в ничто, и за единый миг он увидел дрожащие отблески факелов на гигантских камнях и мглу тинистого речного дна, а затем всё смешалось, пропиталось тьмой и сгнуло.

Постепенно вместе с самоощущением вернулась обыденность мира, и Штернберг почувствовал, что лежит, раскинув руки, в снегу, и холод уже успел растечься по жилам. Что-то мягко скользнуло по щеке, и чья-то рука смахнула с его лба длинную чёлку. Послышался чей-то лёгкий смешок. Штернберг заморгал, стряхивая снег с ресниц, поправил криво сидевшие очки, но ни рядом, ни поодаль никого не было.

Стоило приподняться, как земля потеряла устойчивость и совершила несколько плавных кругов; от такого аттракциона гадко подташнивало. На какое-то время вышел из строя вестибулярный аппарат, и казалось неосуществимым не то что подняться на ноги, но даже встать на четвереньки – конечности подгибались, и после пары безуспешных попыток он остался лежать на снегу, медленно приходя в себя и соображая, как следует расценивать всё то, что с ним случилось. До жертвенного камня было метров пять, если не больше, и Штернберг не мог понять, как и когда успел отойти от алтаря. Создавалось впечатление, будто его выбросило из центра капища – словно взрывной волной или силовым полем невиданной мощности.

На снегу не обнаружилось никаких следов. «Кто-то ведь здесь был, – недоумевал он, – мне это не померещилось. Но можно ли здесь вообще доверять своим ощущениям?» В старых легендах об этом месте говорится, что человека, оказавшегося в одиночку среди камней, посещают диковинные видения, а ещё может почудиться, что он провёл на капище всего пять минут, тогда как на самом деле прошло два часа, и наоборот, час может обернуться несколькими минутами...

В холодной, как пещера, автомашине Штернберг первым делом поглядел на часы на приборной панели. В сравнении с его наручными часами они ушли на двадцать минут вперёд.

Кажется, эксперимент превзошёл все ожидания.

Йена

15 февраля 1943 года

– Как ваше здоровье, профессор Кауфман?

Вопрос был задан только из вежливости: Штернберг видел, что со здоровьем у археолога дела плохи. И тот понимал, что Штернберг это видит.

Они сидели на скамье у окна, в тупике больничного коридора. За окном анемичное солнце вяло трогало мокрые ветки деревьев.

– Вы хотите поговорить о Зонненштайне? – Кауфман искоса взглянул на него, по-птичьи дёрнув головой. В сером больничном халате маленький археолог казался особенно хрупким.

– Расскажите мне о людях, которые исчезли на раскопках. Я знаю, после того июльского случая было ещё два подобных происшествия.

Штернберг почувствовал внезапный испуг археолога.

– Я не... Я, собственно, подумал, вы попросите рассказать легенды о капище.

– О легендах мы ещё поговорим. Я прочёл все публикации вашего дражайшего коллеги, занимавшегося легендами, господина Габровски. Жаль, что он составил компанию обитателям Бухенвальда. Хотя, разумеется, ему следовало подумать о последствиях, прежде чем распускать язык.

Археолога передёрнуло. Впрочем, раздражение его быстро уступило место равнодушию, на дне которого тёмными водорослями колыхался страх.

– Они были моими лучшими учениками. Выдвинули интересную гипотезу о том, что высота мегалитов как-то связана с высотой солнца в различное время года... Двое должны были осенью отправиться на фронт... Не знаю даже, что вам ещё сказать...

– Они не пытались залезать на жертвенник?

Кауфман озадаченно нахмурился.

– Понятия не имею, не видел.

– А вы, профессор, не пробовали?

Археолог посмотрел на него как на ненормального.

– Помилуй вас бог. Да и вообще, к чему вы всё это спрашиваете?

– Да так... В легендах говорится о волках, которые отбирают жизнь у человека, недостойного приблизиться к капищу. О двух чёрных волках с пылающими красным пламенем глазами. – Штернберг широко ухмыльнулся. – Не слишком оригинально, правда? Я так понимаю, это какая-то метафора?

– Просто старинное предание. Волки – это мифические стражи капища. В Тюрингенском лесу раньше действительно водилось множество волков, отсюда и легенда. Но их всех истребили. Местные жители очень давно не видели этих зверей.

– В легендах ещё сказано, что люди приходили на капище с молитвами, и молитва достойного могла заставить солнце «быстрее или медленнее катиться по небу». Это как следует понимать?

– Вы неудачно поставили вопрос, герр Штернберг. Это ведь всего лишь миф...

И тут Штернберг вновь ощутил испуг сидящего рядом человека. Археолог знает про временные аномалии, понял Штернберг, он с ними сталкивался, но не может их объяснить, и оттого ему страшно. Штернберг с трудом подавил желание похвастаться открытием и рассказать, как похожа скала Штайншпигель на чашеобразные скалы на Тибете, о которых ему говорил в личной беседе Шефер. Тибетские каменные конструкции тоже, по преданиям, созданы в незапамятные времена и способны сжимать и растягивать время...

– Ладно, а что, по-вашему, значит вот это – «достойный», «недостойный»?

– Раз вы читали статьи моего коллеги, то сами всё знаете: человек кладёт на алтарь свою жизнь, отдаёт её на суд духу Зонненштайна, который и решает, отнять у человека жизнь или сохранить её, ответить или нет на его молитву...

– «Отнять жизнь»? А зачем тогда стражи волки? Какая-то путаница компетенций получается. Впрочем, бог с ними, с легендами.

– Вы позволите мне возобновить раскопки? – помолчав, спросил археолог.

Штернберг хотел было соврать, но неожиданно для себя сказал правду:

– Археологам больше нечего делать на Зонненштайне, профессор. Вы там ничего не найдёте. То, что нужно искать, лежит не под землёй.

Плечи Кауфмана опустились. Штернбергу стало жаль его, этого больного старика, столько лет посвятившего делу, которое в конце концов у него отобрали.

– Послушайте, профессор, – вкрадчиво начал он, положив холёную, горячую руку на высохшую холодную руку археолога, – я могу вернуть вам здоровье. Это в моих силах. Если вы хотите – ваше намерение тут совершенно необходимо...

Под тонкой чуть золотистой кожей его руки голубоватые жилы ветвились как гибкие ростки большого, сильного дерева, а узловатые вены на руке профессора походили на засохшие сучья. Кауфман, помедлив, убрал свою руку, затем поднялся.

– Не пытайтесь откупиться, господин Штернберг. Мне, право же, ничего от вас не нужно.

Тюрингенский лес, окрестности Рабенхорста

16 февраля 1943 года

На сей раз Штернберг вступил на капище, словно в свои законные – ему хотелось так думать, – владения. Теперь Зонненштайн принадлежал ему и только ему, безраздельно.

Он вновь стоял на алтарном камне и смотрел на часы. Стрелка мерно отсчитывала секунды. Низкое небо нависало над заснеженными верхушками огромных камней. Скала за рекой казалась гигантским пустым киноэкраном. Однако за обыкновенностью серого дня таилось нечто, с трудом уместившееся за драпировками обыденности. Штернберг, пожалуй, не удивился бы, увидав сейчас среди мегалитов пару чёрных волков из легенд.

Но ничего не происходило.

«Хочу, чтобы время пошло вспять, – думал Штернберг. – У меня же получилось в прошлый раз, отчего не выходит сейчас?»

Стрелки часов ровно шагали вперёд.

Штернберг посмотрел на тёмные тучи, едва волочившие тяжкий груз, уже сыпавшийся через край первыми, редкими снежными хлопьями. Древние возносили здесь молитвы, сила которых была такова, что заставляла солнце быстрее или медленнее двигаться по небу. Нет, точнее так: заставляла время нестись во весь опор или едва ползти, превращая минуты в часы. Выходит, что день может длиться как целый год? Это ж сколько тогда можно успеть за один день...

Ему показалось, что стрелка часов запнулась и следующий шаг сделала медленно и неуверенно. И словно бы чьи-то ладони покровительственно легли сзади на плечи – мягким прикосновением, окатившим спину волной колких мурашек. Он резко обернулся, хватаясь за кобуру. Недвижимый пустой воздух, одинокая цепочка его следов, ведущая к жертвеннику. Он озираясь по сторонам, пульс глухо колотился в ушах, но страха почему-то не было: испуг, едва вспыхнув, сменился холодной, прозрачной эйфорией. В тишине, царившей на капище, слышалось молчаливое одобрение.

Он досадливо тряхнул головой, пытаясь ухватить ускользавшую нить мысли. Нет, здесь нужен не приказ. Здесь требуется просто желание, идущее из самой глубины души. Похоже, свойства мегалитов напрямую зависят от желаний стоящего в каменном кругу человека. Успех первого опыта объясняется очень просто: тогда он всей душой, зло и пронзительно пожелал, чтобы время повернулось вспять. И сила его желания немедленно запустила какой-то скрытый в каменном комплексе механизм... или просто сконцентрировалась в луч воли, многократно отразившись от множества каменных зеркал вокруг?

Из чёрной тетради

С марта мои поездки к Зоннеништайну стали регулярными. В начале весны сорок третьего года я только и делал, что курсировал между археологическим памятником и мюнхенской лабораторией оккультного отдела «Аненербе».

Вскоре я уже проводил эксперименты с моделями Зоннеништайна, которые в документах я обозначал просто: Зеркала. Разработки, связанные с пробуждением у людей телепатических способностей, с ведома Гиммлера переросли в исследования по преодолению хода времени.

Мысль есть энергия – это первое, что надлежит усвоить тому, кто приступает к изучению оккультных практик. Теперь я знал, что и время есть энергия, и эти два вида энергии могут взаимодействовать между собой.

Вскоре произошло то, что заставило меня серьёзно задуматься. Я никогда не относился к Зеркалам как к забавной игрушке. В круг камней капища я всегда входил как в храм и со всеми моделями мегалитического комплекса обходился бережно и почтительно, словно с младшими братьями Зоннеништайна. Более того, сами собой выработались связанные с новым изобретением правила, которым я по собственному желанию почему-то неукоснительно следовал: перед работой с Зеркалами я всегда старался настроить себя на самый безмятежный лад; я просил у Зеркал прощения, если был чем-то раздражён или если меня донимала какая-нибудь неприятная навязчивая мысль; и вовсе не подходил к моделям, если был сильно не в духе. У меня вошло в привычку беседовать с Зеркалами – вести этакий странный полудialog, подразумевавший молчаливые реплики. Это напоминало игру, в сущности, это она и была – но по-настоящему ритуальная, священная. Мне казалось, всё должно быть именно так и никак иначе. Но другие не желали прислушиваться к моим рекомендациям по обращению с Зеркалами – с первого взгляда, надо признать, довольно странным. Для остальных Зеркала были просто очередным устройством – да, необычным, гениальным, удивительным – но в конечном счёте всего лишь устройством, из которого следовало выкачать всё возможное. Вначале я подумал было, что небрежное обращение с Зеркалами способствует возникновению неуправляемых потоков тонких энергий. Но всё оказалось гораздо сложнее. Отчего-то Зеркала не желали подпускать к себе некоторых людей.

Не желали.

После страшной катастрофы в Бёддекене я стал говорить о своём изобретении только так, автоматически одушевляя его.

Главной целью экспериментов, проводимых в бывшем монастыре Бёддекен неподалёку от Вевельсбурга, было выявление закономерностей, согласно которым Зеркала принимали или отвергали операторов. В качестве подопытных были взяты люди самые непохожие: застенчивый помощник главного библиотекаря Вевельсбурга, разбитная буфетчица из отеля в Падерборне, прославленный ас, недавно получивший бриллианты к Рыцарскому кресту, несколько заключённых различных национальностей из концлагеря Нидерхаген (узники которого использовались как рабочая сила для реконструкции замка Вевельсбург), а также трое младших сотрудников «Аненербе» и двое эсэсовских генералов. Последние запросились сами, и, собственно, из-за них всё и случилось. Первым был небезызвестный Ханс Каммлер из строительного управления, про которого потом стали поговаривать, будто он руководит проектом по созданию машины времени, а всё лишь из-за того, что ему однажды захотелось побаловаться с моими Зеркалами. Другой чиновник из этой бравой команды, незадолго до того проводивший инспекцию концлагерей, похвалялся меткой стрельбой с балкона комендантского дома по движущимся целям. Эти предприимчивые господа воспылали идеей впечатать в энергетическое поле Земли постулат о величии фюрера путём помещения в фокус Зеркал большого портрета Гитлера и собственных благонамеренных персон. Их шумное при-

существование вызывало у меня неконтролируемые приступы отвращения. Вероятно, это также послужило не последней причиной произошедшего. Позже я осознал, что каким-то образом связан с Зеркалами даже тогда, когда нахожусь вне их фокуса.

Стоило офицерам внести в пространство установки портрет, как под потолком зала возникли крупные сгустки ярчайшего белого света, вроде шаровых молний. Это уже само по себе было очень страшно, но чиновники не потеряли присутствия духа и заявили, что данное явление следует расценивать как знак высшей избранности фюрера – и тут паркет вспыхнул у них под ногами. Один офицер сгорел заживо, а другого – Каммлера – вышвырнуло прочь из установки в угол зала неведомой силой. Из окон ударило пронзительно-лиловое сияние – казалось, воспламенились небеса. Дальнейшее все очевидцы описывали по-разному. Мне всё это вспоминается как мутный и бессвязный кошмар.

В тот вечер и затем всю ночь небо над Вевельсбургом и окрестностями пылало непередаваемыми оттенками лилового и белого. Ткань времени и пространства натягивалась и рвалась – возможно, я единственный человек, слышавший, как она рвётся – с оглушительным треском тысяч электрических разрядов. И затыкать все прорехи пришлось мне, поскольку лишь я один хоть что-то смыслил в происходящем. Помню, что тьма и туманный свет причудливо перемежались между собой тонкими слоями, и всё почему-то было прозрачным: я наяву видел собственные вены, кости, аккуратные суставчики кисти. Я набрасывал на конструкции из металлических листов, служившие моделями мегалитов Зоннеништайна, какие-то тряпки, портьеры, чьи-то плащи и шинели, а затем нёсся по подземному ходу в Вевельсбург, потому что в крипте под залом Вальхаллы Гиммлер приказал установить систему металлических плоскостей, подобную макету Зоннеништайна – одному Богу было ведомо, как на неё могло повлиять творившееся в Бёддекене.

Доктора говорили мне, что невозможно получить столь сложный перелом руки в результате простого падения, но и мои рассказы о том, как в подземном ходе между Бёддекеном и Вевельсбургом что-то невидимое вцепилось мне в руку и потащило прямо в стену, врачи отвергали как бред травмированного сознания, тем более что в крипте Вевельсбурга на меня накинута какой-то слуга, с перепугу вообразивший, что я со своими порождающими молнии устройствами намереваюсь совершить не что иное, как покушение на жизнь недавно прибывшего в замок рейхсфюрера, и потому от души ударил меня по голове острым ребром металлического табурета, после чего я свалился ему под ноги, затылком на каменный пол.

Почти три недели, проведённые на больничной койке, дали мне немало времени для раздумий. Я чувствовал себя виноватым перед Зеркалами. Я бахвалился, как последний дурак, я был самонадеян и недалёковиден, и получил по заслугам. Я раскаивался и мысленно просил у Зеркал прощения.

Мюнхен

май 1943 года

По выходе из больницы он оказался остриженным как новобранец – требовалось привести в соответствие шевелюру справа, потому что слева волосы только начали отрастать, и чудовищно смотрелся кривой мясисто-розовый шрам, протянувшийся от макушки к уху – «Штопали, как пьяные патологоанатомы», – ругался Штернберг на докторов, – но даже это не раздражало так, как карикатурно торчащие большие полупрозрачные уши, выставленные теперь на всеобщее обозрение, имевшие идиотскую особенность ярко алеть при всяком волнении – над этой деталью его внешности, Штернберг знал, потешались не меньше, чем над косоглазием. А самое огорчающее обстоятельство выяснилось, когда с него наконец сняли гипс. Освобождённая из заточения рука выглядела жалко, как протез, и была столь же мало послуш-

ной, а когда он попробовал пошевелить пальцами, обнаружилось, что они совсем не повинуются.

С того дня Штернберг проводил бесчисленные часы, сидя за роялем и разрабатывая несчастную левую руку, но та, несмотря на нескончаемые упражнения, никак не поспевала за правой, не могла резво пробежаться даже по гамме до мажор, ломала миноры, не попадая непослушными пальцами по узким чёрным клавишам, и совершенно неспособна была осилить сложные аккорды.

Именно в эти дни, когда он погибал от бессилия над раскинувшейся в обе стороны клавиатурой, его поначалу невыносимо раздражал появившийся в доме непрощенный помощник. Этого деятельного деревенского парня, сержанта Франца, приставили к Штернбергу сразу, как того выписали из госпиталя, чтобы как-то компенсировать его временную беспомощность – и теперь этот самый Франц носил ему книги и бумаги, бегал по служебным поручениям и помогал дома. Во всех поступках Франца присутствовала исключительная основательность, и все его мысли были размеренными, степенными и какими-то очень функциональными, никаких пустых отвлечённостей, даже мечтания его, если он себе таковые позволял, были добротными, словно крестьянские постройки, и больше всего напоминали скрупулёзный план действий, которому сей образец благоразумия затем неукоснительно следовал. Штернберг, чьё пространство мышления всегда было на редкость неудобным, с блуждающими огнями и возвышающимися среди бездонной трясины шаткими конструкциями, и продувалось разрушительными леденящими ветрами, смутно завидовал в этом отношении Францу и потому первые дни донимал парня едкими замечаниями и колкими шутками, за что позже ему сделалось стыдно. На издёвки Франц никогда не обижался, смотрел на молодого офицера с доброжелательным любопытством, как обыкновенно глядел на всё то, что было выше его понимания. А Штернберг, по его разумению, был самым непонятным существом на всём белом свете.

Со временем, однако, Франц сделался настолько незаменимым помощником, что Штернберг лишь удивлялся, как прежде без него обходился. К тому же быстро выяснилось, что к Францу частенько подкатывались гестаповцы и то деньгами, то угрозами пытались вынудить к доносу, на что Франц, так и не сумевший окончательно избавиться от ужасного швабского диалекта, но зато принципиально не употреблявший бранных слов, в виде исключения детально объяснял, в какое именно место его шеф этих гестаповцев со всей их конторой закончит, если они ещё раз отважатся сунуться с подобными предложениями.

Между тем музыкальные тренировки Штернберг упорно не оставлял, и спустя три месяца после выписки из госпиталя первой вещью, сыгранной без единой запинки, стала третья часть 21-й сонаты Шуберта, раньше не особенно им любимая, но отныне ставшая гимном его упрямству. Поздравить его было некому – Франц не понимал музыки сложнее маршей и деревенских песенок. Пока Штернберг приступом брал аккорд за аккордом, Франц сидел в своей комнатке и прилежно писал очередное письмо домой. Тонким слухом Штернберг слышал, как ординарец с тщательностью школьника подбирает слова. Через какое-то время в далёкой швабской деревеньке у стола соберётся большая семья, и кто-нибудь будет вслух читать про то, какой странный офицер попался их дорогому Францу: каждый вечер по несколько часов мучает музыкальный инструмент.

Штернберг и в этом отношении завидовал Францу, завидовал отчаянно, – как только может завидовать человек, ведущий, увы, исключительно деловую переписку.

Швейцария, Вальденбург

август 1943 года

Как обычно, его никто не встретил. Они не вышли из дома даже тогда, когда автомобиль, отчётливо прошуршав по гравию в утренней тишине, остановился у крыльца.

Замешкавшийся почтальон оттолкнулся ногой от ступеньки, объехал на своём облупленном велосипеде зеркально-чёрный «Хорьх» – все машины Штернберга были чёрного цвета – и, вихляя, поколесил прочь, то и дело оборачиваясь. Сейчас всей улице растрезвонит.

А к Штернбергам-то сынок прикатил. Ну да, да, именно он, тот самый.

На глянцевої поверхности автомобильной двери отражалось чёрное летнее небо, сияющее чёрное солнце и высоченный человек в чёрном. Всякий раз, когда он ступал на это крыльцо, его просто тошнило от собственной представительности – и, тем не менее, перед каждым визитом сюда он обязательно облачался в доспехи благополучия: идеально сидящий костюм – чёрный, естественно, – пошитый в самом дорогом берлинском ателье, бриллиантовые запонки на слепяще белых манжетах – бриллиантам он отдал предпочтение с того самого дня, как смог себе их позволить, – все пальцы в драгоценных перстнях, словно у персидского царя – для его элегантно худых крупных рук это не казалось вульгарным излишеством. Он любил очень дорогие вещи – они являлись материальным выражением его ценности и незаменимости.

Он помедлил, прежде чем всполошить дом восклицанием звонка, давно уже, впрочем, ожидаемым. Они ведь знают, что он стоит под дверью, – и не выходят. Нарочно не выходят встречать его. Вот Эммочка непременно бы вышла, да что там, выбежала б за ворота – но ей, разумеется, никто не посчитал нужным сообщить заранее о прибытии злосчастного гостя.

Дверь открыла горничная и, не поднимая глаз, удалилась. В прихожую вышли две прямые худошавые женщины – старшей, пепельноволосой, с королевской осанкой, на вид никак нельзя было дать её пятидесяти с лишним лет, а поразительная – хоть и несколько суховатая в последнее время – красота младшей, тридцатилетней, только подчёркивала, насколько богатого законного достояния природа лишила Штернберга, вздумав над ним посмеяться.

– Ну, что ж. Ну, здравствуй, Альрих, – произнесла старшая женщина.

Где-то на втором этаже раздался глухой частый стук, резво перемещающийся к лестнице – и вот маленькие ноги забарабанили по деревянным ступеням. Эммочка, в ночной сорочке, неслась белым вихрем и пронзительно выкрикивала на весь дом:

– Дядя приехал! Дядя приехал!

Её поймали за плечо:

– Куда босиком? – но она вырвалась и в следующее мгновение подлетела на пугающую, нечеловеческую высоту, дико вереща от восторга, подброшенная к самому потолку и пойманная сильными руками, и вцепилась в жёсткие лацканы пиджака. Она была сплошным горячим сгустком счастья. Штернберг улыбался, глядя вверх лохматой льняной макушки девочки, но никто не улыbnулся ему в ответ.

– Вот негодница, даже не оделась, – сказала сестра, а мать промолчала и лишь про себя отметила, что за прошедшие несколько месяцев он стал ещё более чужим и ещё более лишним и что уже ничего в нём не осталось от того бегавшего по частным урокам неказистого студента, которого она любила. Сестра же беспокоилась единственно о том, что её дочь опять закатит скандал на целую неделю после того, как он уедет, – да лучше бы он вовсе не приезжал! До чего же это иногда скверно – слышать мысли окружающих.

«Ну, уж нет, – подумал Штернберг, с щемящей благодарностью касаясь губами тёплых волос Эммочки, – пока хоть кто-то здесь будет так счастлив видеть меня, я буду сюда приезжать».



Шофёр внёс в дом несколько больших чемоданов. Обе женщины старались не смотреть на них, а Эммочке пока было не до того – но скоро она проявит к ним самый живой интерес. Всегдашний ритуал преподнесения даров словно оправдывал его появление, превращая его приезд в прибытие подателя всех благ, исполнителя всех желаний. Не составляет труда выбирать подарки, когда ты способен прочесть чужие мечты и когда твой банковский счёт позволяет не считать деньги, – ведь и этот тишайший городок в сонной долине Швейцарских Альп вместо беспокойного Мюнхена – после того, как мать категорически заявила, что они уйдут из рейха хоть пешком, – и этот особняк, окружённый пышным садом, все слуги и гувернантки... Но хватит, довольно об этом.

– Дядя, а фрау Магда назвала твою машину катафалк. Это значит карета?

– Это значит гробовозка, солнце моё. Фрау Магда – твоя новая гувернантка?

– Да. И она уже собирается увольняться.

– Ну и правильно. Потому что я ей язычок к зубам приморожу, пускай она мне только попадётся.

– А помнишь герра Шальбурга? Которого ты называл клетчатым удавом? Так вот, он поругался с мамой, и я налила ему в шляпу компота, и меня заперли в чулане, а он больше к нам не ходит.

– Невелика беда. Только в следующий раз, прежде чем налить кому-нибудь в шляпу компот, подумай, что бы ты делала, если б кто-нибудь положил овсяной каши в твои новенькие туфельки.

Через окно на лестничной площадке было видно, как сиделка выкатила в сад инвалидное кресло с сидящим в нём пожилым мужчиной. Штернберг поспешно отвёл взгляд.

Эммочка шумно распотрошила коробки с подарками и долго крутилась перед ним в новых платьях. Она была хрупкой на вид и высокой девочкой, пожалуй, чересчур высокой для своих восьми лет, и Штернберг с удовлетворением отмечал, что нет в ней ничего от того мерзавца, что обманул и бросил его сестру, ожидавшую ребёнка – и спустил с лестницы очкарика-школяра, вздумавшего вызвать его на дуэль. Никакая неугодная примесь не испортила древней породы, сухой, длиннокостной, светловолосой – штернберговской.

Эммочка была дитя не только незаконнорождённое, но и нежеланное. Эвелин считала, что этот ребёнок поломал ей жизнь. Один только Штернберг, в ту пору гимназист, был по-настоящему рад появлению девочки на свет: мелодия бессловесных мыслей и незатейливых чувств младенца, чистая, как родник, ласкала его слух, открытый Тонкому миру, а аура вокруг крохотного существа была яркой и необыкновенно красивой. Он очень гордился тем, что всегда знал обо всех потребностях младенца, – тогда как другие демонстрировали в этом отношении невероятную тупость. Вечерами он рассказывал по своей комнате, держа перед собой белый свёрток и учебник, и нараспев зубрил очередной урок. Таким образом, во времена младенчества Эммочку убаюкивали не колыбельные няни, которую семья тогда не могла себе позволить, а Плутарх, Тацит, Гораций, алгебра, геометрия и история Французской революции. Позже, когда он получил членский билет СС и потому его стало можно хулить как угодно, Эвелин не переставала язвить, и мать никогда её не одёргивала: надо же, до чего докатилось благородное семейство барона фон Штернберга – выродок нянчит бастарда.

За обедом Эммочка вела себя, как всегда, буйно – смеялась, гремела посудой и стучала стулом, но, если б не она, в столовой царило бы ледяное молчание.

– Смотри, что я умею делать! – Эммочка стала подбрасывать крошки печенья и ловить их ртом – половина падала на пол.

– А смотри, что я сейчас сделаю, – Штернберг пристально поглядел на лежавшую перед ним салфетку. На уголке её появился язычок пламени и быстро побежал к центру, сужая концентрические круги, оставляя выжженную дорожку в виде спирали.

- О господи, – раздражённо произнесла сестра и встала из-за стола. Мать поджала губы.
- Здорово! – захлопала в ладоши Эммочка. – Давай ещё чего-нибудь подожжём!
- В другой раз, солнце моё.

Штернберг откинулся на спинку кресла, далеко под стол вытянув длинные ноги. Эммочка пересела со своего места к нему на колени и принялась разглядывать и теребить перстни на его пальцах – снимать их ей не разрешалось, а про эсэсовское серебряное кольцо с черепом Штернберг как-то сказал, что оно заколдованное и что носить ему это кольцо до тех пор, пока не завершится его служба. Так теперь Эммочка всякий раз проверяла, нет ли на кольце трещин, и придумывала разные способы, как его сломать, очень уж ей хотелось, чтобы дядюшка никуда больше от неё не уезжал.

– Мне доводилось слышать, – начал Штернберг, – что здесь начинается строительство большой электростанции. Если это будет причинять беспокойство, можно подыскать место получше... – его слова упали в пустоту.

- Нам ничего не нужно, – сухо ответила мать почти через минуту.
- Открой окно, – попросила Эммочка. Этот фокус ей никогда не надоедал.

Штернберг картинно вытянул руку с указующим перстом по направлению к дальнему окну, и оно с треском распахнулось.

– Альрих, перестань, – сказала мать. – Сейчас Ханна придёт убирать посуду, ты же напугаешь её до смерти.

– Просто Ханна глупая, – заявила Эммочка. – Она ничего не понимает в волшебстве. Давай превратим её в белую мышь!

- А ты не боишься, что её съест кошка?
- Тогда в мопса!

Сестра вздохнула:

- Между прочим, кому-то здесь давно пора заняться французским.
- У меня каникулы, – отмахнулась Эммочка.
- Каникулы надо заслужить. Кроме того, не забывай про невыученные стихи из Евангелия.

– Эви, дорогуша, у нас теперь строгая католическая семья? – заухмылялся Штернберг. – Я сейчас изреку банальную истину: то, что вбивается в голову бездумно, навсегда останется бессмысленным грузом.

– Я тебя спрашивала?..

– А французским я с ней сам позанимаюсь. Последняя гувернантка, как я погляжу, напрочь отбила у неё охоту учиться.

- Нет уж, – зло, но совершенно беспомощно сказала Эвелин.
- Да уж, да уж! – радостно подхватила Эммочка.

Эвелин в бешенстве вышла из комнаты. Но что она могла сделать? Этот омерзительно всесильный чиновник, вылупившийся из её нелепого младшего брата, привязал их к себе главным – деньгами. Он был единственным источником доходов. А раз так, его приходилось терпеть... Хотя так называемые занятия французским следовало бы всё равно запретить. Видела она, что они собой представляют. Например, следующее: книга валяется на софе, Эммочка, болтая ногами, сидит на письменном столе перед Штернбергом, и они вместе, хохоча, распевают куплеты про доктора Гильотена – куплеты очень сомнительного, никак не детского содержания. А эти истории про старые вестфальские замки и про неупокоенные души, которые он ей рассказывает на ночь, а Эммочка потом страшает чужих ребят услышанными небылицами так, что те плачут от ужаса, – ей-то, негоднице, всё нипочём. А эти меланхолические, с мутным смыслом и с каким-то издевательским подтекстом песни, которые он, сидя за роялем, поёт для неё, а она с явным удовольствием подпевает – и в результате Эммочка наотрез отказывается разучивать хорошие, добрые, понятные песни, написанные специально для детей. А эти стран-

ные знаки, которые она рисует на косяках и на дверях, и неразборчивые словечки, которые шепчет над разбитой коленкой – от него, всё ведь от него...

* * *

Поздним вечером в открытые окна налетели большие ночницы и с тугим стуком бились в колпак настольной лампы, оставляя на нём чешуйки тёмно-серой пылицы, бумажно трепеща короткими крыльями. Штернберг читал книгу – вот что в нём никогда не менялось, так это пристрастие к книгам и к чтению за полночь. Знакомая поза сосредоточенности: сплетённые пальцы подпирают подбородок, из-за чего плечи приподняты, но не тощие юношеские, а широкие и сильные мужские – сейчас даже от его прилежно, по-ученически склонённой большой спины, казалось, исходила смутная угроза.

Когда они обе вошли и симметрично встали по сторонам от двери, словно кариатиды, он не обернулся, но, не отрываясь от книги, ответил на невысказанный вопрос:

– До воскресенья, я полагаю.

Помолчав немного, добавил:

– Хорошо, не буду.

– Вот именно. – Эвелин обошла стол, отмеченный кругом электрического света, и посмотрела в окно, в свежую, веющую дождём черноту. – Хотя бы минут десять постарайся не отвечать, пока тебя не спросят. Что за штуку Эмма притащила в дом?

– Лук. И стрелы. Я учил её стрелять из лука.

– Этого ещё не хватало. Она не мальчишка.

– Она сама меня попросила.

Мать тоже обошла стол и села напротив.

– Господи, Альрих, как ты её балуешь! Страшно подумать, что будет с твоими собственными детьми.

– Надеюсь, их не будет как можно дольше... Эвелин, я всё слышу. Насчёт десятка на стороне. Я что, похож на Казанову?

– Послушай, Альрих, – нервозно начала мать, – у тебя в комнате опять на столе коньяк. Как и в прошлый раз. Каждый день. Тебя там что, спаивают?

Он не успел ответить, потому что сестра подступила с другой стороны:

– Ты отдаёшь себе отчёт в том, что очень плохо влияешь на Эмму? После твоих отъездов эта негодница становится совершенно неуправляемой.

– Ей просто-напросто не хватает внимания. И если бы моя работа позволяла бывать здесь чаще...

– Твоя *работа*? – с горькой язвительностью переспросила Эвелин.

– Знаешь, Альрих, – продолжала мать, – мы регулярно слушаем сводки новостей. В последнее время по всем западным радиостанциям только и передают о том, что германские войска отступают и несут потери. Для Гитлера всё кончится так же, как для Муссолини. Эта война уже проиграна, Альрих.

– Нет. Германия никогда не потерпит поражение, – Штернберг по-прежнему не поднимал голову от книги.

– Германия и рейх – вовсе не одно и то же, – сказала Эвелин от окна.

– Родину не выбирают.

– Ах вот как! Если ночью к соседям вламывается полиция, если молодчики в галифе стреляют в людей прямо на улицах только за то, что те ходят в синагогу, а не в кирху...

– Так бывает, когда стремление навести порядок вырождается в...

– Порядок?! – вспыхнула Эвелин. – Да что ты, скажи на милость, называешь порядком? Нескончаемую войну? Бешеную пропаганду? Не говори мне о порядке и уж тем более не говори

о каких-то там своих идеалах! Скажи лучше честно: ты нашёл золотую жилу. Потому что твой рейх как известный триптих: для одних ад, а для других – сад земных наслаждений!

Штернберг коротко мотнул головой, будто ему отвесили пощёчину, и исподлобья взглянул на сестру. На его скулах проступали яркие пунцовые пятна, и в точности такой же лихорадочный румянец горел на бледном лице Эвелин – из-за чего они стали очень похожи друг на друга.

– Что ж, если ты полагаешь, что это золото было для нас лишним, когда мы подышали от нищеты... – процедил Штернберг.

– Что значит подышать, ты лучше спроси у нашего нового соседа. Он сначала побывал в подвалах на Принц-Альбрехтштрассе, а потом больше полугода, до побега, провёл в Бухенвальде. Вот он тебе расскажет! Хотя лучше бы не рассказывал ничего, а просто-напросто плюнул тебе в глаза!

– Эвелин, – тихо сказала мать.

– Да, конечно. Зачем я всё это говорю. Кому я это говорю...

– Эвелин! – повторила мать.

Сестра вышла, хлопнув дверью. Мать молча посмотрела на него. А он глядел на лампу, на то, как в жёлтый абажур с налёту врезаются тёмные мохнатые ночницы, глупые слепые твари, рождённые для мрака, и отчего их так притягивает чуждый их природе свет, почему они так упорно стремятся к нему, каким неведомым чудом им представляется эта дурацкая лампа? Одна из бабочек залетела в круглое отверстие наверху колпака, побилась внутри и скоро вывалилась снизу с поджатыми к норковой грудке лапками, убитая жаром светильника. Штернберг трясущейся рукой потянулся к выключателю, стукнул по нему, не попал, стукнул снова, и комната погрузилась во тьму. Из темноты выплывали серые, сизые, белесоватые очертания предметов. За окном чуть слышно перешёптывалась листва. Мать сидела молча.

– Альрих, – произнесла она наконец со строгой, но в то же время просительной, едва ли не умоляющей интонацией.

В сущности, она не знала, что ему сказать. Слишком непостижимым был он для неё, непроглядным, во сто крат темнее этой затихшей комнаты. Она бы и хотела испытать какое-то пронзительное понимание, какое-то совершенно искреннее тепло по отношению к нему, но чувства, смущённые его чуждостью, скованные справедливостью суждения, были способны лишь на жалость, смешанную с неизбежной опаской. Да и вообще, не стоит его злить, никуда тут не денешься: хорошие деньги есть хорошие деньги, они нужны всегда...

Было видно, как он снял очки и стал неспешно протирать их широким отворотом халата.

– Альрих, ты не хочешь поговорить с отцом?

– О чём? – обронил он с этой своей новоприобретённой отвратительной холодной отстранённостью.

– О чём-нибудь... Ведь уже четвёртый год идёт, Альрих. За четыре года уж наверняка можно было решить, что именно следует сказать, чтобы он тебе ответил.

Штернберг нервно хмыкнул, продолжая полировать очки.

– Если б такие слова существовали, я давно бы их произнёс.

– Вчера он мне сказал, что хочет с тобой поговорить.

– Неправда, – быстро произнёс Штернберг. – Ты это сама только что придумала.

– Господи, какое же ты всё-таки чудовище...

– Точно. Монстр. Надо было меня ещё в колыбели задушить подушкой. Или отстрелить мне голову из охотничьего ружья. Или, ещё лучше, оттяпать садовыми ножницами. Это же его слова, верно?

– Прекрати, – глухо сказала мать. – Никогда раньше не подозревала, что ты настолько злопамятен. Или это они там тебя научили?

– И для всепрощенья существуют пределы.

– Знаешь, раньше он всем пытался втолковать, что наш сын сидит в нацистской тюрьме. А теперь он всем говорит, что нашего сына убили...

– Ну, спасибо ему на добром слове.

– Ты даже не хочешь попытаться?

– Я уже однажды сделал попытку, тогда, четыре года назад. В то время мне как никогда нужно было с ним поговорить. А теперь нам уже не о чем разговаривать.

– Альрих...

– Мне не в чем раскаиваться. И вот ещё что: напоминаю, я мог бы поднять его с инвалидного кресла, теперь это вполне в моих силах... если бы он сам попросил. Но ведь он никогда меня ни о чём не попросит.

– Боже, ну до чего ты на него похож. В точности такой же упрямец.

Он бесшумно поднялся из-за стола, захватив с собой книгу. Мать проводила его взглядом. Была какая-то жутковатая грация в плавных и в то же время размашистых и уверенных движениях такого большого, длинного существа. Даже его отец, в молодости очень изящный, невзирая на свой не менее внушительный рост, никогда не отличался ничем подобным. Наверное, ему сейчас очень идёт этот его мундир...

* * *

С утра Штернберг повёл Эммочку в горы. Ей необыкновенно нравились эти долгие прогулки, когда время словно замедляло ход, и день представлялся бесконечным. Они уходили прочь с нахоженных троп – было у Штернберга некое чутьё, не позволявшее ему заблудиться, и было странно видеть на диких зелёных склонах мужчину в городском костюме – он терпеть не мог так называемую походную одежду – и девочку в нарядном светлом платье – Эммочка всей душой разделяла это его неприятие.



С ним было сказочно легко: он нисколько не возражал, когда она просила остановиться и передохнуть, и иногда соглашался взять её на руки и понести по особенно крутому косо-
гору, а сам, похоже, вообще никогда не уставал. И, самое главное, он позволял делать всё,

что ни заблагорассудится: залезать куда угодно, бросать камни в реку, валяться на траве. Он умел заговаривать ссадины и царапины, лечить сломавших крылья ласточек, которых было так жалко, и даже – только это был большой секрет – мановением руки останавливать дождь и рассеивать грозовые тучи. Да и говорить с ним можно было о чём захочешь.

Поднявшись вверх по течению безымянного ручья, они набрали на луг с ровной, будто ковёр, и мягкой травой, Эммочка тут же уселась на неё, натянув на колени отороченный кружевами подол. Штернберг походил вокруг, сначала присел рядом, в два приёма сложившись, лишившись своей огромной высоты, а затем и вовсе разлёгся, вытянувшись во весь рост. Он стащил с носа очки и посмотрел в небо. Его лицо выражало полнейшую отрешённость и ещё что-то такое, отчего девочке стало тревожно, и она постаралась прогнать поскорее неуютное чувство, завязав разговор.

– Скажи, почему взрослые говорят вести себя хорошо, а сами ведут себя иногда очень плохо?

– А? – кажется, он только сейчас очнулся и заметил, что она требовательно глядит на него. И это ей тоже почему-то не понравилось.

– Я спрашиваю, почему взрослые сами ведут себя плохо, а детей наказывают, чтоб они вели себя хорошо? – повторила Эммочка.

– Ну, видишь ли, каждому взрослому хочется, чтобы вокруг него было хоть какое-то подобие порядка. А порядок создать гораздо сложнее, чем хаос. Потому у самих взрослых это далеко не всегда получается, как они ни стараются, – подложив руки под голову, он внимательно посмотрел на неё. – Кажется, я знаю, почему ты об этом спрашиваешь...

– Вы вчера так кричали, – сказала Эммочка. – Вы все. Друг на друга. Мама запирает меня в чулане, когда я кричу на неё.

– И ты это слышала даже у себя в комнате?

– Да.

– Скверно. Мне очень жаль, солнце моё. Постараюсь, чтобы такого безобразия больше не повторилось.

– Взрослые тоже иногда делают глупости.

– Да, к сожалению. – Штернберг двумя пальцами нацепил очки. – И знаешь, что в этом деле самое плохое? Детские глупости легко опознать, а вот взрослые – гораздо сложнее. Взрослые глупости очень тщательно маскируются под умные вещи. Они предельно логичны, они растут и развиваются, они изобретают себе разумные поводы и прекрасные цели. Важно ещё и то, что детские глупости – совсем небольшие, а взрослые часто бывают огромными, гигантскими, просто титаническими Мегаглупостищами с Самой Большой Буквы.

– А ты умеешь их отличать?

– Наверное. Не знаю. Очень хочется надеяться, что да.

– Это так трудно?

– Это невероятно трудно.

– Сложная у взрослых жизнь, – вздохнула Эммочка.

– Ты права. Очень сложная.

– Это, наверное, потому что она у них половая.

– Что?.. – Штернберг засмеялся. – Ты сама додумалась или тебе подсказал кто-нибудь?

– Это вчера мама с бабушкой про тебя говорили. Они сказали, что такие, как ты, никогда не заводят свою семью, потому что у них беспорядочная и к тому же половая жизнь. И ещё что такие, как ты, много пьют и оттого у них много женщин. А зачем тебе нужно много женщин? Они тебе что-то выпить помогают?

Штернберг оглушительно расхохотался. Его колотило от хохота, и Эммочка тоже начала смеяться, глядя на него.

– Санта-Мария, – выговорил он наконец. – Вариативность интерпретации. Ты просто прелесть, солнце моё.

– А что это значит – половая жизнь?

– В сущности, это довольно однообразное занятие. Но многие взрослые находят его чрезвычайно интересным. Ну, во всяком случае, несомненная польза от этой штуки есть – из-за неё появляются дети.

– Про детей я всё знаю, – похвасталась Эммочка. – Они отрастают в животе у женщины. После того как она поспит в одной кровати с мужчиной.

– Просвещённый ты человек. Всех аистов давно пора списать на свалку истории. С формулировкой «моральное устаревание».

– Про аистов – это только для самых маленьких. Потому что они многого ещё не понимают в этой жизни, – умудрённым тоном изрекла Эммочка.

– А из того, что про меня рассказывают, ты не всему верь. Видишь ли, твоя мама – очень умная женщина, но кое-чего она всё же не знает и оттого иногда присочиняет.

– Да просто мама с бабушкой тебя совсем не любят. Они хотят, чтобы ты поскорее уехал, вот и всё. Хочешь, я скажу тебе страшную тайну? – Эммочка наклонилась вперёд и, понизив голос до торжественного полусёпта, произнесла:

– Они тебя жу-утко боятся. Потому что ты ведь чёрный волшебник. Да, да, – Эммочка важно закивала, – я сама догадалась. Белые волшебники должны ходить в белом. А ты всегда носишь чёрное. И у тебя на пальце кольцо с черепом. Чёрных волшебников всегда все боятся, и никто не любит. Я про это читала в сказках.

– Умница, – Штернберг грустно улыбнулся.

– А вот я тебя люблю. Очень-очень... – Эммочка распласталась у него на груди, раскинув тонкие руки, обняла – и случайно, а возможно, инстинктивно, приняла наиболее действенную сакральную позу человека, стремящегося поскорее передать другому свою жизненную энергию – как мать прижимает к себе заболевшее дитя, как солдат – раненого товарища, и Штернбергу стоило большого труда не зачерпнуть из такого маленького, но на редкость чистого источника больше, чем позволялось взять – ведь его громоздкая мощь способна в два счёта осушить этот драгоценный горный родник. Он безотчётно ослабил в хищническом экстазе, но тут же одёрнул себя: аккуратнее, хватит – и приподнял за плечи девочку: той нравилось ощущать, что такое большое, жёсткое на ощупь тело тоже живёт и дышит, и внутри него тоже бьётся сердце.

Эммочка заулыбалась, её осенила новая идея:

– Давай, когда я вырасту, ты на мне женишься. И будешь учить меня музыке и французскому, а на ночь рассказывать истории про привидения.

– Не выйдет, солнце моё. Я твой дядя. Это всё равно что старший брат. Родственники не женятся.

– Почему?

– Потому что нельзя.

– А почему нельзя?

– Дело в том, что есть на свете такие вещи, которые вообще никогда нельзя делать. Их не так уж много, этих вещей, но про них следует помнить. Сам Бог раз и навсегда запретил их делать. А с Ним, как ты понимаешь, спорить не годится, крайне плохо это может закончиться.

– Ну и что, – возразила Эммочка. – Вот, например, Бог запретил людям убивать друг друга. А они всё равно убивают и убивают. Я это знаю, потому что мама с бабушкой постоянно об этом говорят. И Бог таких людей не наказывает. Так что Он даже не заметит, если мы с тобой поженимся.

– Софист ты мой. Тебя не переспоришь.

– Ну так что – давай? Представляешь, как мама разозлится! – азартно воскликнула Эммочка.

– Представляю, – вздохнул Штернберг. – В галерее моих мнимых пороков, и впрямь, только растления с кровосмешением и не хватает. Когда же коллекция станет полной, из меня сделают чучело Гая Фокса. Набьют соломой, предварительно выпотрошив, зальют в глотку бензин и торжественно сожгут в окружении портретов достопочтенных предков...

– Кого-кого сделают?

– Не обращай внимания, солнце моё. Я тоже иногда болтаю глупости.

– Я не хочу, чтобы ты уезжал.

– Придётся... – он сел и погладил её по голове, вдоль тёплого пробора в густых волосах. – Да, тебе нужен хороший отец. Только где его теперь возьмёшь? Впрочем, не исключено, что ещё повезёт... Будем надеяться.

– Мне никто не нужен, кроме тебя. Можно, я поеду вместе с тобой?

– Не стоит. У меня много работы, я редко бываю дома. Тебе быстро наскучит сидеть одной.

На его лице вновь появилось то отстранённое выражение, которое ей так не нравилось и почему-то смутно её беспокоило.

– Тебе что, грустно?

– Напротив, я очень счастлив. Я так рад, что могу видеть тебя, солнце моё.

Из чёрной тетради

Я продолжал исследования Зоннеништайна и осенью сорок третьего года сделал одно из самых значительных открытий, относящихся непосредственно к капищу. Экспериментируя с различными моделями древней постройки, я выяснил, что для более тонкого и совершенного управления энергетическими потоками наряду с каменными Зеркалами существовали плоскости меньших размеров, сделанные, возможно, из золотых пластин, рассчитанные на временную установку. Опоры их ставились в те самые углубления, которые, по мнению археологов, были предназначены для опор навеса над жертвенником. Существовал также некий способ определять положение малых Зеркал в зависимости от времени года и суток, и я со своими специалистами немало помучился, вычисляя взаимосвязь между высотой солнца и должным местонахождением металлических пластин на капище. Результатом явилось то, что я назвал «связкой ключей от Зоннеништайна» – набор простых металлических столбиков различной высоты, устанавливаемых в особые отверстия в мощении вокруг алтаря. Тени от них указывают на угол поворота малых Зеркал.

Никогда прежде у меня не вызывали такого раздражения различные задания – к слову, часто исходящие от самого Гиммлера, который тем самым демонстративно выделял меня среди прочих оккультистов «Аненербе». Из-за этого мне предрекали в будущем влияние в научном обществе, по значительности сопоставимое с властью Зиверса, Вюста или авторитетом Шефера, а то и превосходящее их. При всей лестности подобных прогнозов, с некоторых пор я досадовал на мелочную суету шефа, то посылавшего меня читать лекции в городке Дахау, где были организованы курсы лозоискателей и инструкторов по обучению лозоискательству, то настаивавшего на том, чтобы я присутствовал при его беседе с каким-то генералом и после обстоятельно доложил обо всём, что генерал предпочёл не произносить вслух. От обязанностей присутствовать на допросах многочисленных ипционов, чаще всего таковыми не являющихся, меня избавили после того, как, мельком проглядев сознание очередного арестанта, я объявил, что не намерен больше мчаться по звонку через полгорода только затем, чтобы оповестить следователей, насколько сильно жертва очередного доноса хочет в уборную или страдает жаждой опохмелиться.

Однако от необходимости то и дело срываться с места и ехать на аэродром, чтобы обеспечить лётную погоду нашим асам, освободить меня никто не собирался: толковых

«погодников» в «Аненербе» можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же ещё весной руководство института проигнорировало предупреждения подотдела прогностики о начале советских воздушных операций по уничтожению немецких военных аэродромов. Теперь же начальство требовало от лучших сенситивов отдела невозможного: предсказать точный час начала очередного налёта, и – «Вы же умеете «держаться» погоду, так езжайте туда, обеспечьте нелётную на время русской атаки!» Те поездки на Восток запомнились мне лишь нескончаемой головной болью от ментального перенапряжения.

Мне не давало покоя ощущение, что я размениваю золото на пыль, снова и снова отвлекаясь от Зеркал ради повседневной работы. Но главное я совершил – я полностью реконструировал Зонненштайн.

К этому времени у меня начались серьёзные стычки с Дитрихом Мёльдерсом, из-за которых возникло столько проблем в будущем...

Мюнхен

октябрь – ноябрь 1943 года

В Мюнхенском институте тайных наук Мёльдерс был персоной известной и даже скандально знаменитой, но слава эта была совершенно иного рода, нежели популярность Штернберга, которого поругивали за бесшабашность, которому завидовали – но при том довольно находилось и тех, кто ему симпатизировал, особенно после того, как по выписке из госпиталя он вернулся заметно подрастерявшим спесь. Что же касается Мёльдерса, то его одиозная личность едва ли могла вызвать у кого-то симпатию.

Его подотдел, уподобляясь филиальчику преисподней, располагался в сумрачном и гнилом полуподвале здания института, и оттуда частенько тянуло какой-нибудь дрянью, вроде гари, серы или гниющих останков. Работники прочих подотделов сплетничали, что там занимаются техникой дистанционного умерщвления, усовершенствованием ядов и самой что ни на есть настоящей некромантией. «И перегонкой крови еврейских девственников ради получения эликсира вечной молодости», – всю издевался Штернберг.

Мёльдерс, директор всего этого хозяйства, выползал из своих подземелий не часто, но и не настолько редко, чтобы о нём забывали. Внешне Мёльдерс очень смахивал на покойного шефа СД и гестапо¹² Гейдриха, – пару дней пролежавшего в гробу и приобретшего трупную желтоватую бледность и тёмные пятна на висках. У Мёльдерса был такой же долгий нос на вытянутой физиономии со скошенным назад высоким лбом, длинные узкие глаза под припухлыми веками; только рот, совершенно лишённый губ, несколько портил исключительное сходство. Даже в тёплую погоду Мёльдерс ходил в накинутой на плечи чёрной шинели, и от его хламиды несло мышами и белладонной, которую он, поговаривали, курил до одурения. «Мастер путилевой левой руки», – так его называли в глаза, а за спиной, разумеется, «чёрный маг» и «чернокнижник».

Когда случалось, что он показывался на втором этаже института, где на стене лестничной площадки висела скромная медная табличка «Экстрасенсорика и целительство», то наглец Штернберг, ненароком встречаясь с ним в коридорах, демонстративно прикрывал нос платком. Мёльдерс был ему противен до рвотных позывов. Кроме того, Штернберг не мог забыть историю со «Штральканоне». Вероятно, конфронтация с главным чёрным магом началась бы у него значительно раньше, если бы Лигниц имел привычку проводить общие собрания начальников подотделов, но, к счастью, Лигниц предпочитал общаться с подчинёнными с глазу на глаз, предоставляя каждому возможность тихо работать в своём кабинете и не мешать другим.

¹² СД – служба безопасности и политической разведки Третьего рейха, осуществляла контроль за настроениями в обществе.

Как позже выяснилось, это была самая мудрая политика, хоть несчастный Лигниц и слыл бездарным руководителем.

Лигниц погиб в автомобильной катастрофе, при довольно странных обстоятельствах: водитель на полной скорости вырулил на встречную полосу, тут же врезавшись в грузовик.

Отдел возглавил дёрганный, истеричный и скорый на необдуманные решения Вальтер Эзау. Именно он ввёл новую форму отчётности – еженедельные общие собрания, служившие неизменным отправным пунктом для разногласий между подотделами и для личной неприязни между некоторыми сотрудниками.

На одном из первых таких собраний Эзау счёл нужным устроить Штернбергу выволочку за очередную дикую проделку: накануне Дня всех святых Штернберг заявился в институт в парадно-выходной форме, но в чёрной сорочке и с густо обведёнными чёрной тушью глазами, что делало его похожим на молодого блондинистого Дракулу, и вид у него был настолько гадкий и шокирующий, что «Лугоши с зависти подал бы в отставку», по выражению гогочущего Валленштайна. По поводу всего этого безобразия Эзау сделал Штернбергу строгий выговор, впрочем, не произведший на того никакого впечатления. И тут Мёльдерс поднялся и во всеуслышание изрёк, что всем людям с физическими недостатками свойственно несколько излишнее и даже болезненное остроумие, им они компенсируют свою неполноценность. Штернберг ответил, что физические недостатки всё же куда как менее вредоносны, нежели психические – Мёльдерса считали не вполне нормальным, – но уши его налились рубиновым соком, как у пристыженного школьника, и он ничего не мог с этим поделать. Штернберг про себя поклялся, что при первой возможности укажет проклятому трупоеду его распоследнее место.

Случай представился на следующем же собрании, когда Мёльдерс запрашивал у начальника отдела разрешение на крупную поставку «живого человеческого материала» в связи с началом нового этапа своих разработок.

– В прошлый раз, – говорил Мёльдерс, с тихим присвистом вдыхая сквозь зубы перед началом каждой фразы, – в мою загородную лабораторию было доставлено никуда не годное сырьё. Эти твари едва шевелились. На сей раз я требую самый свежий материал, ибо мы как никогда близки к цели. Мы произведём величайший переворот в алхимии. Отныне арийская алхимия сплавит в себе лучшие достижения человечества в этой области и объединит западные и восточные практики. Я нашёл решение нашей задачи. Мы соединим европейское Великое Делание и восточный Нейгун, и созданный в результате эликсир бессмертия будет лучшим подарком нашему фюреру к его следующему дню рождения... Но мне требуются ресурсы. Мне нужен людской материал, способный к внутреннему Деланию. Человеческие единицы должны иметь силы на то, чтобы практиковать положенные физические упражнения и сексуальные приёмы. Только тогда в них вызреет пилюля бессмертия. В тех ходячих скелетах, которые мне привезли в прошлый раз, не оставалось ни грана необходимых для Нейгун физиологических жидкостей.

Кто-то из присутствующих, сидевший поблизости от двери, нарочито кашляя, вышел в коридор.

– Сексуальная практика, – с аппетитом продолжал Мёльдерс, – способствует получению дань, сока бессмертия, который я собираюсь извлечь из производящих единиц. Эта практика потребует от них значительных затрат сил. Человеческий материал должен быть готов к тому, чтобы питать свою энергетику с помощью Инь-Янь. Иными словами, от этих тварей требуется способность совокупляться...

Штернберг с самого начала выступления сидел молча, что было для него весьма нехарактерно. Неожиданно он спросил:

- Вы лично будете руководить упомянутыми практиками?
- Да, разумеется, – ответил Мёльдерс.

– А, так вот для чего вы всё это затеяли! Но ведь это же очень дорогое удовольствие! – воскликнул Штернберг. – Вы только подумайте, какие издержки грозят институту в связи с транспортировкой и содержанием большого числа заключённых. Я порекомендую вам более дешёвое, но не менее надёжное средство: кедровое молоко и сок алоэ, говорят, хорошо помогает, а ещё определённого рода фотографии, их вы можете приобрести у любого охранника за пачку хороших сигарет.

Аудитория взорвалась хохотом. Штернберга подзуживали со всех сторон, а он и рад был стараться.

– Я ещё слышал, – продолжил он наигранно участливым тоном, – вы дали задание работникам сада лекарственных трав в Дахау выращивать в теплицах сому. По-моему, зря. Это же сильнейший галлюциноген. Я бы посоветовал вам выращивать чемерицу: по отзывам древних, хорошее средство, отлично помогает при острых бредовых состояниях, вот и Демосфен, если помните, говорил...

Слушатели уже вовсю веселились. Отчёт обернулся фарсом. Мёльдерс побелел от злости.

– Шут. Паяц. Клоун. Острик-самоучка!..

– Одним словом, талант, – скромно вставил Штернберг.

Война была объявлена.

С того дня ни одно собрание начальников подразделов не обходилось без подобных стычек, причём Штернберг, который за словом в карман не лез, всегда, к вящей радости публики, выходил победителем. Его многократно предупреждали, что оттачивать остроумие на знаменитом чёрном маге по степени неразумности сравнимо разве что с плясками на заминированном поле. Штернберг это прекрасно понимал, но сдержаться не мог: всё его существо отвергало Мёльдерса, воспринимало его как зловонный провал в ткани окружающего мира.

В конце осени Штернберг получил повышение и защитил диссертацию – защита проходила при закрытых дверях, на ней присутствовали рейхсфюрер и весь цвет эсэсовской профессуры – в основном высшие руководители «Аненербе» и представители оккультного отдела. Штернбергу была присвоена учёная степень доктора¹³ философии – с неафишируемым, но крайне важным дополнением «и тайных наук». А буквально на следующий день новоиспечённый доктор получил странное задание, не очень-то соответствовавшее профилю его научной деятельности.

Из чёрной тетради

Предыстория неожиданного назначения была такова. В начале сентября сорок третьего года гестаповским отделом IVH, возглавляемым Зельманом, была создана специальная комиссия по расследованию серии загадочных смертей среди персонала женского концлагеря Равенсбрюк. За три месяца расследование не продвинулось ни на шаг, а пугающие происшествия продолжались. Этим делом заинтересовался сам Гиммлер и постановил удовлетворить запрос гестаповцев о привлечении к расследованию кого-нибудь из самых лучших экстрасенсов «Аненербе». Выбор шефа СС пал на меня.

Роль концлагерного детектива меня несколько смущала: систему концентрационных лагерей я теоретически осуждал, хотя, за неимением повода, никогда прежде особо не задумывался над её существованием. Я решил, что буду заниматься несколько не интересным мне новым делом в незначительных перерывах между работой с Зеркалами и прочими своими проектами. Но тогда я не знал, на какой большой срок мне придётся оставить научные разработки.

¹³ В Германии – первая учёная степень.

Глава 2

На Вороновом мосту

Фюрстенберг – Равенсбрюк

22 ноября 1943 года

За автомобильным окном стремительно пролетал крупный тяжёлый снег, пятная косыми свинцово-белёсыми мазками холст сумрачно-серого леса. Штернберг отрешённо глядел в окно и перебирал в уме детали сложившейся комбинации. Его самолюбие было сильно уязвлено тем, что он не сумел вовремя опознать вероятность хитроумно подготовленной ловушки; его здорово раздражало то, что кто-то посмел возомнить, будто знает его слабые места, на которых якобы можно удачно сыграть; и ещё сильнее он досадовал на то, что вообще ни о чём таком не подозревал, покуда Зельман не лишил его благодушного неведения.

С некоторых пор у них с Зельманом сложилась традиция – по пятницам вести неспешные вечерние беседы под скромное распитие чего-нибудь благородно-алкогольного, происхождением преимущественно из оккупированной Франции. Тогда-то Зельман и рассказал о том, что самое безнадёжное за последний год расследование его отдела, кажется, наконец-то сдвинулось с мёртвой точки: Гиммлер лично дал добро на применение тяжёлой артиллерии – ради этого злосчастного дела кацетников специально откомандирован один из лучших магов «Ане-нербе», порекомендованный, говорят, самим Мёльдерсом. Штернберг, слушавший генерала с таинственной улыбкой, при последних словах фыркнул в свой бокал с вином и, беззаботно смеясь, заметил, что мага порекомендовал уж никак не Мёльдерс, поскольку этот хваленый маг – он, Штернберг, а его Мёльдерс попросту терпеть не может. Так что теперь, добавил он, они с Зельманом в очередной раз оказались в одной упряжке – и быстро прикончат это дурацкое дело придушенных заключёнными надзирателей да свалившихся по пьяни с вышки охранников.

Зельман, к недоумению Штернберга, помрачнел и сказал, что, с одной стороны, разумеется, очень рад тому, что в равенсбрюкскую комиссию попал именно Штернберг, ибо это означает, что дело уже можно считать закрытым; с другой стороны, есть некоторые поводы для беспокойства.

– Какие? – спросил Штернберг, силясь разобраться в противоречивых чувствах собеседника.

– Это, скажем так, не совсем ваш профиль, – неохотно ответил Зельман. – Сдаётся мне, кому-то вздумалось проверить вас на прочность. Не исключено, что тому же Мёльдерсу.

– Не понимаю. Я ведь неоднократно сотрудничал с вашей организацией.

– Одно дело – сумасшедшие сектанты, деревенские колдуны и спятившие цыганки. Совсем другое – кацетники. Вам когда-нибудь доводилось работать в концлагере?

– Нет, – Штернберг по-прежнему ничего не понимал.

– А теперь вам придётся просиживать там часами.

– Ну и что из того? Бывали и похуже места. Помните пещеру дьяволопоклонников у Тойфельсштайна? И что?..

– В сущности, ничего особенного. Но бывают и эксцессы... – и Зельман напомнил Штернбергу историю эсэсовского исследователя Отто Рана, изучавшего еретические учения и загадку Святого Грааля. В качестве дисциплинарного взыскания за пьянство Рану определили четыре месяца службы охранником концлагеря Дахау, затем в жизни учёного началась странная полоса сплошных неудач, и когда через год начальству вздумалось отправить его на службу в Бухенвальд, он написал заявление об уходе из СС и покончил с собой.

– Во-первых, – недовольно начал Штернберг, – вы всё извратили, у Рана были куда более серьезные причины для самоубийства...

– Не спорьте со мной. Я знал Рана в те времена, когда он работал под началом Вайстора. Восторженный молодой человек. Учёный, писатель. Говорили, он очень близко подобрался к разгадке тайны Грааля. Слишком близко... По своему характеру он был немного похож на вас, Альрих.

– Ну и зачем, собственно, вы мне всё это говорите?

– Будьте бдительны. Не позволяйте никому и ничему себя удивлять. Не ввязывайтесь ни в какие предприятия, которые вам, не исключено, предложит лагерное начальство. Также, вполне вероятно, вы увидите в лагере такие вещи, которые могут вас неприятно озадачить. Просто не берите в голову.

Штернберг ухмыльнулся: вот оно что. Неужто Мёльдерс принимает его за такое ничтожество, за истеричного студентика, который после созерцания толпы измождённых людей в полосатых робах пойдёт и вложит ствол пистолета себе в рот в честь неисправимой греховности мира? Ну что ж, поиграем, решил он. Ещё посмотрим, кто выйдет победителем.

Изучив документы по равенсбрюкскому делу, Штернберг предположил, что персонал и охрану лагеря, вероятнее всего, планомерно выкашивает подпольная организация заключённых, наделённых паранормальными способностями. Сотрудничая с гестаповским отделом IVН, он пару раз сталкивался с подобными сообществами, только в городской среде. Картина преступлений была та же: череда несчастных случаев, повторяющихся с пугающе строгой периодичностью. Непонятно только было, почему зельмановские следователи заподозрили кого-то из вольнонаёмных работников лагеря, что ж они, заключённых-то вовсе за людей не считают? Вот в чём была их ошибка. Со всеми этими выводами, а также с одной довольно нетривиальной идеей Штернберг явился к Гиммлеру и предложил план по набору из узников Равенсбрюка свежих кадров в подмогу оккультистам «Аненербе». Набирают же из концлагерей талантливых учёных и конструкторов. Почему бы не попробовать набирать колдунов и экстрасенсов?

– Только не евреев, – буркнул Гиммлер. Потом задумался. Посмотрел на Штернберга: – Слушайте, а ведь это дельная мысль.

Так возникла – пока только на бумаге – экспериментальная школа «Цет», по типу абверовских¹⁴ разведывательных школ, но с иной специализацией. Штернберг должен был возглавить комиссию по набору кандидатов на обучение и в перспективе стать одним из преподавателей школы.

Пользуясь случаем, Штернберг заодно нанёс удар Мёльдерсу: если эта гадина и впрямь затевала какую-то игру, то следовало по меньшей мере сравнять счёт. Перед рейхсфюрером он выразил возмущение по поводу того, что Мёльдерс использует для своих кровожадных разработок заключённых с задатками сверхчувствования – и это было правдой, – и таким образом транжирит драгоценный материал совершенно не по назначению. В результате знаменитый чернокнижник получил выговор, а его исследования, связанные с «внутренним Деланием», прикрыли на неопределённый срок. Штернберг был очень доволен.

Справа от дороги (они ехали со стороны Фюрстенберга) между деревьями показалась пепельно-серая холодная гладь Шведтзее. Застава осталась позади, и слева замелькали ладные домики персонала. Вскоре пара чёрных автомобилей в сопровождении охраны на мотоциклах свернула прочь от озера, к большому строению, за которым в редящем снегопаде раскрывалось огромное безлесное пространство.

Комендатура концлагеря Равенсбрюк располагалась в широком двухэтажном здании под традиционной крутой двускатной крышей. Недавно выбеленные стены, казалось, светились в сумраке пасмурного дня, вторя белизне островков снега возле крыльца. Вокруг же простира-

¹⁴ Абвер – орган военной разведки и контрразведки в Третьем рейхе.

лась свинская грязь, распаханная грузовиками – у самого здания, впрочем, стыдливо присыпанная песочком.



Встречали представителей комиссии с почётом – адресованным в первую очередь Штернбергу, поскольку прибывших с ним гестаповцев, штурмбаннфюрера Хармеля и гауптштурмфюрера¹⁵ Шольца, здешнее начальство уже неплохо знало. Комендант концлагеря Фриц Зурен оказался благообразным господином лет тридцати пяти, с необыкновенно честными стеклянисто-светлыми глазами и младенческой сочностью крепкого правильного лица, налитого той здоровяцкой розовостью, какая свойственна многим белёсым блондинам. Пожимая руку Штернбергу, чьё суровое чёрное одеяние среди серых мундиров смотрелось подобно монашескому облачению, комендант добродушно пожурил многоуважаемого доктора оккультных наук за то, что тот пренебрёг его гостеприимством, остановившись в офицерской гостинице Фюрстенберга:

– Вы даже не представляете, от каких преимуществ отказываетесь, – дружески улыбнулся Зурен. – Впрочем, в Фюрстенберге вы найдёте немало отличных заведений, снабжаемых нашим предприятием.

Штернберг холодно ответил, что приехал сюда не развлекаться, а в кратчайшие сроки выполнить поручение рейхсфюрера. Зурен и его адъютанты были Штернбергу интересны не более чем раскатанная вокруг комендатуры грязь. Славные малые, умеющие приспособить свою нехитрую сущность как под громкий общественный долг, так и под тихую благочестивую семейную жизнь, при столь универсальной душевной анатомии с одинаковым мастерством способные смастерить своему ребёнку игрушку и до смерти запороть заключённого, при последнем заодно дав выход содержимому некоторых своих тайных резервуаров – каковые в ином случае перелились бы во что-нибудь вроде воскресного лупцевания жены или манипуляций

¹⁵ Гауптштурмфюрер – звание младшего офицерского состава в СС, соответствовало званию капитана.

над снимками голеньких девочек. Подобные особи, в мундирах и в штатском, ежедневно встречались Штернбергу в таких количествах, что давно стали для него малозначительной частью пейзажа.

От обеда у коменданта Штернберг отвертеться не смог. Вероятно, он всё же доставил бы себе немало удовольствия, тонко издеваясь над благой тупостью местной интеллектуальной элиты, представленной в основном эсэсовскими медиками, но его неважное самочувствие не располагало к словесной эквилибристике, и потому он, против обыкновения, просидел большую часть времени молча, едва притрагиваясь к блюдам и с растущим унынием слушая разговоры о погоде, об охоте, о любимом коне коменданта и об ущербе лагерю от недавней бомбардировки. Ещё на подъезде к Равенсбрюку его начало слегка знобить, а теперь озноб усилился, боль пульсировала в висках, всякое восприятие притупилось, и даже движение чужих мыслей, всегда донимавшее своей отчётливостью, сейчас сгладилось, отдалилось и виделось словно сквозь густой туман. Штернберг заметил, что один из предоставленных ему в помощь гестаповцев, Шольц, слишком уж пристально на него поглядывает, из чего легко можно было заключить, что Шольцу поручили внимательно следить за поведением молодого оккультиста на протяжении всей работы в комиссии, но вот кто именно дал это поручение, Штернберг прочесть не сумел, у его внутреннего приёмника словно упала чувствительность, да и в теле ощущалась странная вялость – похоже, эти гнилые промозглые снегопады доконали и его, хотя он почти никогда не простужался. Он никак не мог согреться и часто зевал, словно в обширном помещении столовой не хватало кислорода. Прочие присутствующие чувствовали себя вполне комфортно.

По окончании трапезы Зурен объявил, что крайне заинтригован должностью приезжего специалиста и был бы очень признателен, если б гость либо авторитетно подтвердил, либо опроверг те невероятные слухи, которые ходят о самом таинственном отделе «Аненербе». Штернберг криво осклабился:

– Предоставляю почтенным хозяевам самим судить о правдивости каких бы то ни было слухов, – и протянул над столом длинные руки. На сложенных пригоршней ладонях запылал яркий огонь, несколько не опаливший кожи. Зрители изумлённо охнули – а Штернберг небрежно стряхнул пламя с ладоней, словно клочки бумаги, и оно хлынуло на стол, мгновенно залив всё жарким огненным полыханием, разом вспыхнула вся скатерть – и люди с воплями шарахнулись от стола, какой-то почтенный эсэсовский профессор медицины, потеряв равновесие, повалился назад вместе со стулом, но Штернберг повелительно взмахнул рукой, и пламя исчезло, оставив стол невредимым, лишь на салфетках кое-где виднелись тёмные пятна. В воздухе чувствовался запах озона.

– Поразительно! – восхищённо воскликнул Зурен. – Да вы и вправду настоящий маг. А человека живьём вы сможете спалить? – полюбопытствовал он.

– Смогу, – Штернберг пренебрежительно улыбнулся.

– И толпу людей?

– Да, разумеется.

– Очевидно, в недалёком будущем, при массовом распространении подобных умений, нам и крематорий не понадобится, – порадовался Зурен.

– Вы правы, вполне вероятно, крематорий нам с вами не понадобится – так что вы, штурмбаннфюрер, говорили о бомбардировке лагеря?..

Штернберг поручил Францу пойти в канцелярию и заняться составлением списков тех заключённых, что прибыли в лагерь незадолго до начала серии несчастных случаев, а сам поехал обратно в Фюрстенберг. Он слишком скверно себя чувствовал. Комендант, провожая Штернберга до автомобиля, выразил надежду, что прославленный специалист быстро разберётся со всей этой чертовщиной, из-за которой лагерь уже успел заполучить дурную славу

проклятого места, и пообещал назавтра устроить учёному увлекательную экскурсию по своим владениям.

Равенсбрюк

23 ноября 1943 года

Утром Штернберг счёл своё самочувствие вполне сносным для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей. Не совсем понятно было, что комендант подразумевал под словами «увлекательная экскурсия», хотя отчётливо проглядывалось намерение чиновника чем-то поразвлечь одного из самых знаменитых магов Гиммлера, – но пренебрегать этой затеей определённо не стоило, так как предоставлялась возможность хотя бы поверхностно ознакомиться с бытом лагеря и заодно посмотреть на заключённых. Франца Штернберг вновь направил в канцелярию, а гестаповцам собрался было поручить подбор свидетелей, но те вызвались сопровождать его по лагерю, напомнив заодно, что не являются его подчинёнными и уполномочены сами распоряжаться своим временем. Штернберг укрепился во мнении, что эти двое приставлены к нему скорее в качестве наблюдателей, нежели помощников.

– Полагаю, Мёльдерс платит вам больше Зельмана, – как бы ненароком бросил он, покуда они в сопровождении коменданта и его свиты подходили к воротам. – Хотелось бы только знать, за что, господа?

Хармель и Шольц были хорошо выдрессированы и умели контролировать свои чувства – иных в «инквизиторском» отделе гестапо и не держали – но при этих словах Шольц прямо-таки помертвел, Штернберг это почувствовал и злорадно улыбнулся.

Между тем группа офицеров вышла на аппельплац – огромную пустынную площадь, участок обнажённой земли, утрамбованной до гладкости и твёрдости асфальта ногами тысяч узников. Редкий снег смягчал очертания видневшихся вдаль плоских построек и тонконогих вышек с прожекторами, но нисколько не скрывал высящуюся за бункером массивную прямоугольную трубу, исторгавшую клубы плотного дыма. Труба была невысокой, и в холодном воздухе чувствовался вкус гари. Всё вокруг было так похоже на скромное промышленное предприятие – вон производственные цеха, вот металлургическая печь или котельная, – что концлагерь представлялся одним из многочисленных эсэсовских заводов, фабрик, мануфактур, и иллюзия была бы полной, если б не леденящий холод, медленно, словно по капельнице, вливающийся в кровь. Штернберг знал, что означает этот холод. Такой же внутренний холод он чувствовал на кладбищах и в разрушенных бомбардировками городах.

Комендант заметил, что гость смотрит на трубу крематория, и сообщил с оттенком гордости:

– Работает как доменная печь – круглые сутки.
– С виду похоже на завод... – обронил Штернберг, не представляя, что ещё сказать.
– Это лучше, чем завод, – сказал Зурен. – Не надо платить зарплату, – и радостно засмеялся над собственной шуткой. Свита почтительно захихикала. – Есть и другие преимущества, – со значением добавил он.

Штернберг отрешённым взглядом посмотрел сквозь коменданта, надеясь разглядеть его ауру, но ничего не увидел. В Тонком мире всё вокруг было затянуто густым серым туманом, съедающим все цвета, заглушающим все мысли – липким удушающим маревом, никогда и нигде прежде им не виданным.

Пока шли через плац, со Штернбергом поравнялся невысокий неприметный человек, днём раньше представленный как лагерфюрер¹⁶ Равенсбрюка, и тихо сказал, что комендант впервые за несколько недель осмелился ступить на территорию лагеря. Комендант боится.

¹⁶ Лагерфюрер – заместитель коменданта концлагеря, ответственный за дисциплину.

Все боятся. Особенно после того, как полмесяца тому назад во время утренней переключки несколько надзирательниц и один охранник прямо перед толпой заключённых отдали богу души. Кое-кто считает, что заключённые знают с нечистой силой. Именно поэтому герр комендант так настаивает на скорейшем строительстве газовой камеры – когда Равенсбрюк станет лагерем уничтожения, состав заключённых будет меняться значительно быстрее, они не будут месяцами просиживать в бараках – особенно это касается заключённых карантинного блока, которых по причине ослабленного здоровья не выводят на работы.

– Заключённым дозволяется держать при себе какие-нибудь личные вещи? – спросил Штернберг.

– По правилам нет. Но некоторые предметы могут уцелеть во время обыска. Старосты по баракам не раз изымали книги. Кроме того, иногда приходят посылки от родственников, но они все тщательно проверяются. Как правило, там продукты питания и деньги.

– А что составляет гардероб заключённых? Они могут что-нибудь прятать в одежде?

– Не исключено. Такие случаи бывали. Помимо робы и головного убора у заключённых есть пальто, платки, ботинки, чулки, кроме того, тюфяки и одеяла. Как видите, места предостаточно. Иногда заключённые зашивают в одежду драгоценности.

– Чулки?... – переспросил Штернберг.

– Да, ведь подавляющее большинство заключённых – женщины, не забывайте.

Как раз об этом-то Штернберг постоянно забывал.

– Значит, небольшие предметы они вполне могут носить при себе.

– В общем, да. Кроме, разумеется, проштрафившихся. У этих изымается абсолютно всё, кроме стандартной робы и башмаков. Даже нижнее бельё. Проштрафившиеся не имеют права носить ничего кроме робы. Персонал обязан постоянно их контролировать.

– Как же их контролируют? – удивился Штернберг.

– Увидите, – почти ласково сказал главный надзиратель. – Господин комендант всегда демонстрирует это своё изобретение перед каждой комиссией. Всем обычно очень нравится...

Офицеры вышли на широкую улицу с длинной чередой низких деревянных построек по обе стороны. Всё было таким плоским и таким серым, что огромное, без конца и края, свинцовое небо, казалось, давило на голову.

– Мы сейчас находимся в Старом лагере, – принялся рассказывать Зурен. – Треть бараков здесь предназначена для больных заключённых. Недостаток этих бараков в том, что они узкие. В Новом лагере, расположенном дальше, бараки гораздо более вместительны.

– Ваши подчинённые не докладывали о каких-нибудь странных предметах, обнаруженных в бараках или возле них? – обратился Штернберг к обоим чиновникам, идущим теперь рядом с ним. – Я имею в виду огарки, иглы, спицы, геометрические рисунки углём или мелом на полу или на дверях и тому подобное? Изувеченные трупы кошек или крыс? Камни с отверстиями или непонятными символами?

– Нет, ничего такого, – ответил лагерфюрер. – Если бы нашли что-то подозрительное, я б давно уже об этом знал. А грызунов, кстати, у нас тут почти нет, штурмбаннфюрер. Их, извините за такую подробность, заключённые всех съели. Ловят и прямо живьём жрут, представляете? Просто животные. Я сам видел...

Комендант свирепо покосился на лагерфюрера, и тот поспешил заткнуться.

– Да вы не слушайте его, большинство женщин у нас тут цивилизованные. Француженки, чешки, польки. Есть на что посмотреть. Вы, кажется, хотели взглянуть на гардероб наших подопечных. Вот, пожалуйста...

Мимо проходила колонна заключённых, возглавляемая женщиной с чёрной повязкой на рукаве – «капо¹⁷», прочёл на повязке Штернберг. Замыкал колонну солдат с автоматом.

¹⁷ Капо – низший надзиратель в концентрационном лагере, назначаемый из числа заключённых. Капо следили за порядком

– Мы теперь иначе их и не водим, даже по территории, – пояснил лагерфюрер, указав на охранника.

Комендант окликнул конвоира, а тот приказал колонне остановиться. По красным треугольникам на полосатых балахонах было ясно, что основная масса этих заключённых – политические. Штернбергу приходилось слышать о нехитрой системе лагерных обозначений. Робы были надеты поверх тёплой одежды, но не у всех. Несколько женщин в шеренге носили только робы и разбитые деревянные башмаки, и ничего больше, виднелись голые сизые ноги из-под полосатых подолов. Снег сыпал на непокрытые взлохмаченные головы.

– Я таких методов не одобряю, – сказал Штернберг. – Мне вовсе не нужно, чтобы отобранные мной люди уже через день слегли с воспалением лёгких. Да они ведь у вас, должно быть, мрут как мухи, в такой-то холод.

– Это касается только провинившихся заключённых, штурмбаннфюрер, – бодро ответил Зурен, а за его спиной стоял Шольц и поглядывал на Штернберга. – А самым отъявленным бандиткам, клиенткам штрафблока, ещё и бреют головы. Преимущество метода в том, что таких кацетниц очень просто обыскивать. Сам рейхсфюрер, инспектируя лагерь, одобрил наш приём... Ротенфюрер¹⁸, продемонстрируйте ускоренный обыск заключённых!

Солдат ухмыльнулся и вызвал из строя тех женщин, что были в одних робах. Штернберг с самого начала ощущал особого рода приторный душок в намерении коменданта произвести некое приятное впечатление на гостей; кроме того, он, с детства слышавший самые тайные и неудобосказуемые помышления окружающих, полагал, что на свете осталось мало вещей, способных его по-настоящему смутить – и всё же ни к чему именно в таком роде он не был готов, когда по команде эсэсовца с автоматом заключённые задрали робы до подмышек, подставляя продрогшие обнажённые тела секущему снегу и плотоядным взорам мужчин в тёплых шинелях. Они были очень молоды, даже не женщины – юные девушки, жестокий лагерный голод ещё не успел иссушить их тела, вопреки всему вступающие в самую цветущую пору, и нежно-округлые очертания девичьих бёдер были самым нереальным из всего того, что можно было вообразить в этой морозной пустыне, с позёмкой, струящейся по чёрной утрамбованной земле. Штернберг едва не выронил трость. Комендант, крайне довольный произведённым эффектом, отдал какое-то указание охраннику, тот отделил от группы оставшихся заключённых ещё нескольких молодых и велел им раздеться. Торопливо скидываемое ими тряпье солдат ворошил носком сапога.

– Видите, ускоренная процедура досмотра выгодно отличается от обычной, – прокомментировал Зурен. – Я же говорю, наше предприятие много лучше любого завода. Где вы ещё такое увидите, штурмбаннфюрер? Да вы подойдите поближе, – посоветовал он, – посмотрите... нет ли на них каких-нибудь амулетов, – и сочно захохотал.

– Они же, наверное, вшивые, – сказал Штернберг.

– Заключённые регулярно проходят дезинфекцию. И дезинсекцию. Так что опасаться нечего, – добродушно заверил его Зурен, кивнув квадратномордому ротенфюреру, который потопал вдоль строя, походя шуруя лапой там и сям. Офицеры всю ухмылялись. Одна из девушек отпрыгнула назад, прикрываясь руками. Тут же подскочила капо и обрушила на неё град ударов короткой плёткой, не замедлил присоединиться и охранник, принявшийся лупить ножищами скорчившееся на земле обнажённое тело. Девушка молчала, только подбирала к животу колени и тщила защитити голову. Всё происходило без единого слова, без единого выкрика, лишь слышались посвистывания да щелчки хлыста, врезающегося в плоть.

– Недавнее поступление, – виновато пояснил комендант, досадуя на осечку. – Их просто не успели выдрессировать как следует.

в бараках и во время работ. Занимали привилегированное положение среди узников.

¹⁸ Ротенфюрер – звание рядового состава в СС, соответствовало званию ефрейтора.

На мгновение реальность отвратительно расслоилась: наиболее призрачный двойник Штернберга уже пинком отшвырнул капо и разнёс трость о рыло ротенфюрера; ещё один Штернберг, которого самого не мешало бы отходить палкой по рёбрам, отметил, что наказаниям тут подвергаются, похоже, только красивые женщины, и задумчиво прислушивался к некоторым скромным попыткам самой пренебрегаемой своей части заявить о себе; что же касается долговязого косоного эсэсовца, то он обернулся к Зурену и, презрительно скривив рот, процедил, что не находит интересным наблюдать за процессом воспитания заключённых, о необходимости которого комендант мог бы вспомнить и до его приезда, у него же здесь совершенно иные дела.

– Да, конечно, – подхватил Зурен. – Сейчас, если угодно, мы посетим жилые бараки, и вы убедитесь, что там чистота и порядок, никаких крыс, никакого мусора...

Очевидно, мельком подумал Штернберг, этому бедолаге последняя санитарная инспекция так хвост придавила, что до сих пор икается. Оставалось только надеяться, что в бараках «экскурсию» не поджидает форменная вакханалия, срежиссированная находчивым комендантом, подыскавшим неплохой способ основательно рассеять внимание любой комиссии... «Да ведь это экзамен, – понял Штернберг, глядя, как Шольц поводит в его сторону крысиным носом. – Пожалуй, самый сложный экзамен из всех, какие мне когда-либо приходилось выдерживать. Гиммлер может простить мне нахальство, паясничанье, неумеренные требования, да всё что угодно – но только не малодушие. Оно недостойно эсэсовца. Именно поэтому офицеры с радостью фотографируются на фоне шеренги повешенных или груды застреленных...»

Комендант сделал вид, что выбрал барак наугад, а на самом деле всё было тщательно распланировано, это легко можно было понять, даже не читая его мыслей. Внутри барак был ярко освещён и хорошо проветрен. На нарах и на скамьях вдоль середины прохода сидели заключённые – сплошь молоденькие девушки, не слишком истощённые, приодетые и приглаженные, а женщины постарше и пожилые были загнаны вглубь помещения, чтобы не мозолить глаза посетителям.

– Видите, здесь нет места, чтобы рисовать всякие пентаграммы да проводить ритуалы, – говорил лагерфюрер, в то время как офицеры шли мимо безмолвных застывших узниц. – Кроме того, у нас введена система тотального контроля. Мы поощряем доносительство, содержим вместе заключённых различных разрядов, так что они и сами неплохо за собой следят. О любых недозволенных действиях мы немедленно получаем самую полную информацию. Тем более удивительно, что преступницы до сих пор не найдены...

Да, это и впрямь удивительно, подумал Штернберг. Возможно, гестаповцы были не так уж неправы, и заключённые действительно не замешаны во всех этих происшествиях... Обращённые к посетителям лица девушек – бледные, худые, глазастые – имели одинаковое заморженное выражение тревожного ожидания и тоскливого страха. То, что Штернбергу удалось разглядеть Тонким зрением – с большим трудом, поскольку в астральной плоскости всё вокруг было затянуто плотной дымчато-серой пеленой, – не оставляло никаких надежд реализовать так понравившийся Гиммлеру проект по набору экстрасенсов из концлагерей. По аурам заключённых ничего нельзя было прочесть о свойствах их обладательниц, так как самих аур почти вовсе не было. Подобное обычно характерно для безнадежно больных. Эти люди на нарах были наполовину мертвецами.

Комендант задушевно изрёк:

– Вероятно, мои обязанности могут показаться однообразными, а то и разлагающими, но поверьте, штурмбаннфюрер, меня моя работа многому научила. Да-да. Например, я научился ценить красоту. Всё-таки по натуре я романтик. Из меня так и не вышло сухого педанта, который относился бы к заключённым как к двуногому скоту. Разумеется, я не говорю о еврейках или цыганках, это не люди. Я имею в виду представительниц арийской расы, испорченных влиянием жидовских идей. Таких женщин мне искренне жаль. Среди них попадаются настоящие

красавицы... Иногда мы даём таким некоторые привилегии, если они ведут себя хорошо. К слову, обратите внимание: настоящая боттичеллиевская красота.

Зурен указал стеком на одну из девушек, и та поспешно вскочила. Ей было не больше семнадцати лет; светлые вьющиеся волосы и плавные черты лица, легко тронутые розовым веки и небольшой нежный рот – она и вправду необыкновенно походила на вечно юных мадонн итальянского живописца. Должно быть, ещё недавно это была застенчивая домашняя девочка, любимица семьи.

Штернберг протянул руку – девушка вздрогнула – и коснулся ворота её рубы – ему нужен был тактильный контакт для психометрического анализа: одежда хранила на себе отпечаток недавних переживаний узницы. Он прочёл лишь то, как два офицера охраны вчера вечером развлекались с этой несчастной – недаром её так колотит от одной только близости его руки.

По знаку стоявшей поодаль надзирательницы девушка, не сводя с него пустого взгляда, стала медленно стягивать с плеч одежду.

– Если вы пожелаете в полной мере отдать дань этой красоте, – вклинился в сознание многообещающе-медовый голос коменданта, – я могу хоть сейчас проводить вас в более уютное место. Желание гостя для нас закон, – гнусно сдохмил Зурен и заискивающе улыбнулся.

Штернберг обернулся к нему, постукивая тростью по раскрытой ладони. Трость была прочная, тяжёлая, у неё было массивное позолоченное навершие в виде крылатого солнечного диска.

– Откровенно говоря, на меня не производят впечатления эти мощи, вы слишком плохо кормите своих воспитанниц. К тому же мне неохота иметь дело с девицами, которые прошли через всю вашу трипперную солдатню. Я брезглив и не нахожу большим удовольствием продолжительное лечение от какой-нибудь заразы...

Комендант следил за тростью, словно за маятником.

– Кроме того, я предпочитаю политически образованных, неукоснительно следующих линии партии и преданных фюреру арийских девственниц. Белокурых, пышнотелых, ухоженных. Музыкальных. И чтобы всю лирику Гёте знали наизусть. Яснее ясного, у вас здесь таких не сыскать.

«Господи, да что я несу, – одёрнул он себя, – любезнейший герр Зурен мне же сейчас и таких наверняка где-нибудь откопает».

Комендант благожелательно улыбнулся.

– Я вас понял, штурмбаннфюрер. Я восхищаюсь вашими вкусами... Простите за нескромный вопрос, а в постели вы с ними тоже о линии партии беседуете?

– Да, – гордо объявил Штернберг.

Комендант выразительно шевельнул бровями и подумал, что на своём веку видал много извращенцев, да и сам он, бог свидетель, далеко не ангел, но такого извращенца, пожалуй, видит впервые.

– В Фюрстенберге есть элитный дом свиданий, снабжаемый нашим предприятием...

Как только эсэсовцы отошли, надзирательница принялась хлестать девушку по груди – за то, что та не произвела должного впечатления на господина офицера – гневно при этом шипя: «Ты что, не умеешь улыбаться, дура?»

– ...рекомендую посетить. Там есть девочки на самые взыскательные вкусы. А по поводу девственниц я могу обратиться к оберштурмфюреру Ланге, он руководит сортировкой заключённых...

– На первое место я ставлю поручение рейхсфюрера, а всё остальное – на десятое, если не на сотое, вы запомнили? У вас тут всю охрану вырежут, господа, пока вы вашу плоть тешите, которая для вас, похоже, и является истинным главнокомандующим. Учтите, я не премину довести данное обстоятельство до сведения рейхсфюрера.

– О, разумеется, работа прежде всего, – залебезил Зурен. – Если необходимо, мы посетим другие бараки, и ещё производственные цеха, а затем я покажу медицинский блок. Там под руководством профессора Гебхардта проводятся уникальные эксперименты, которые вас как учёного наверняка смогут заинтересовать.

– Я не имею никакого отношения к медицине, – попытался вывернуться Штернберг.

– Но ведь вы, кажется, практикуете целительство?

«Все справки обо мне навёл, сволочь».

– Да, верно. Если ваши эксперименты имеют к этому какое-то отношение...

– О, несомненно!

– Что ж, отлично. Но сперва я должен убедиться, что узники действительно не располагают возможностью проводить в бараках ритуалы.

– Да, конечно, конечно...

Только они вышли на улицу, как стали свидетелями одной примечательной сцены, по-видимому, здесь очень будничной, поскольку даже гестаповцы из комиссии не обратили на неё никакого внимания. У стены барака напротив собрались человек пять охранников, и они жестоко избивали ногами и прикладами винтовок катавшуюся по земле женщину.

– А это у вас ещё что такое? – хрипло спросил Штернберг у сопровождающих. – Это у ваших парней вместо утренней пробежки, да?

Лагерфюрер хохотнул и пояснил:

– Это наши специалисты по абортам, в основном для жиждовок. Некоторых сюда уже заряженными привозят, вот наши солдаты их и разряжают, покуда эти сучки не разродились жидятами. Иногда это делают штыками...

Комендант насупился, и лагерфюрер не стал развивать тему. Штернберг стащил с носа очки и принялся яростно полировать стёкла платком, казалось, с головой уйдя в это занятие – и потому не видел, как подол женщины окрасился кровью, но от страшных криков у него заledenела спина и зашевелились волосы на макушке, а эхо чужой боли скрутило внутренности. Именно в это мгновение какая-то онемевшая часть сознания – та, что должна была вовсе остаться за воротами концлагеря – на четвереньках заползла в самое глубокое бомбоубежище и забилась в дальний угол, заткнув уши и зажмурив глаза – благодаря чему долговязый эсэсовец из «Аненербе» ещё долго ходил по лагерю, донимая вспотевшего от услужливости коменданта придирами и, к неудовольствию последнего, посетил слишком многие бараки и производственные цеха.

В некоторых бараках обнаружили портативные виселицы. У входа в казарму охраны стоял столб с крючьями, к которым были привязаны вверх ногами две голые женщины. На их телах атели бесчисленные перекрещивающиеся следы от ударов плетью. Сложно было сказать, живы ли они. У забора за производственными цехами, неподалёку от мертвецких, имелся широкий навес, под ним в землю было врыто несколько длинных, в человеческий рост, заострённых кольев, а рядом была установлена лебёдка с протянутым через балку канатом, на конце которого болтались наручники. Комендант и словом не обмолвился о назначении этого хозяйства, сделал вид, что вообще не заметил, а Штернберг не стал спрашивать, потому что и так всё было ясно. Колья были чёрными от частого применения. А в цехах опрятно одетые женщины что-то шили и при появлении господ офицеров почтительно вставали с мест, напрочь переставая думать о чём бы то ни было – Штернберг впервые видел, чтобы человеческие существа вовсе не думали. В каждом цехе было специальное помещение для порки, со станком для растягивания – всё законно, объявил комендант, порка женщин-заключённых разрешена лично Гиммлером, но Штернберг, вернее, какая-то его обезличенная ипостась, всё равно принялся вяло соображать, удастся ли привлечь Зурена и его кодлу к суду за садизм – прецеденты, хоть и немногочисленные, бывали, ибо рейхсфюрер постановил, что «истреблять врагов» нужно «прилично» и «по-деловому», блюдя эсэсовское достоинство, но тот же рейхсфюрер указывал,

что «политические мотивы» и «наведение порядка» оправдывают всё, а изобретательных карателей не раз называл увлекающимися, но полезными чудаками, поэтому мысль вскоре попала в полный штиль и, булькнув, бесславно затонула в океане абсурда.

Между тем похвально исполнительный штурмбаннфюрер тщетно выискивал следы проклятий или наведения порчи – подобные вещи всегда оставляют отпечатки в Тонком мире – и даже посетил мертвецкую, чтобы осмотреть трупы двух убитых несколько дней назад охранников и прийти к выводу, что таинственный преступник не колдун, а сильнейший экстрасенс, способный, по-видимому, умерщвлять одной лишь силой мысли, без обращения к ритуалам: погибая, жертвы даже не успевали осознать, что с ними случилось. Гестаповец Шольц начал терять интерес к своему объекту наблюдения, не стал заходить в морг и потому, по счастью, не увидел, как Штернберг, сунувшись не в то отделение, остекленевшим взглядом уставился на разложенные по полу ровными рядами пергаментно-серые детские тела, крошечные и высохшие, – а затем долго, как слепой, нашаривал ручку двери.

Ко времени посещения медицинского блока омертвевшее сознание уже находилось в каменном саркофаге. У Шольца, съёжившегося при виде приёмной, навевающей тоску своей стерильной практичностью, вдруг обнаружились какие-то срочные дела, но Штернберг мстительно прошипел у него над ухом, что это сущий позор – игнорировать достижения арийской медицины, и посему незадачливый шпик, с детства боявшийся всего, связанного с врачами, поплёлся в лабораторию походкой сомнамбулы.

В медицинском блоке дьявольски энергичные труженики в белых халатах, располагая неограниченным числом подопытных, совершенствовали приёмы массовой стерилизации евреек и цыганок, занимались экспериментальной пересадкой частей тела, испытывали различные вакцины, а также работали «на производстве по линии внутрилагерных нужд», смысл последнего Штернберг предпочёл не уточнять. Рассказывал обо всём этом круглощёкий душка профессор, особенно радовавшийся тому, что низкоквалифицированные медики и студенты-практиканты могут «повышать квалификацию», тренируясь на большом количестве «учебного материала».

Профессор показал своих подопытных, на которых изучалось «восстановление костной ткани».

– Мои крольчата, – ворковал он над привязанными к койкам молодыми женщинами. Их руки и ноги были закованы в гипс. У двух девушек куски гипса были вырезаны вместе с плотью, чтобы обнажить срастающуюся кость. Воздух кругом звенел от их боли, она струной проходила сквозь солнечное сплетение, но Штернберг уже почти и не слышал её. Он отупело шагал следом за профессором, а тот, азартно улыбаясь, рассуждал о том, какой успех на берлинской конференции имел доклад, посвящённый результатам первой волны экспериментов, когда изучалась эффективность сульфаниламидов при обработке огнестрельных ранений. Чтобы симитировать фронтовое ранение, на бедре «кролика» делался глубокий надрез, куда вводились металлические стружки или битое стекло, возбудители газовой гангрены и столбняка. «Как видите, мы идём в авангарде военной медицины...»

Профессор повлёк гостей дальше. Несколько девочек, лет десяти, были привязаны к операционным столам, накрытые простынями – некоторые по горло, у других простыня была уже наброшена на лицо. Между столами ходила женщина и делала детям какие-то уколы.

– Доктор Оберхойзер испытывает действие барбитуратных инъекций, – слова профессора донеслись до Штернберга будто сквозь фанерную перегородку, потому что его блуждающий взгляд всё-таки упал на одну из девочек – и она посмотрела на него, прямо в глаза, но совершенно бессмысленно, погружаясь в глубокий наркотический сон, из которого ей уже не суждено было выйти.

Наговорившись о достижениях, профессор с гордостью представил одного из своих ассистентов, а тот показал господам офицерам своё последнее изобретение: живые анатомиче-

ские пособия. Создавались такие пособия «путём замены кожно-мышечного покрова брюшной полости прозрачными вставками». Штернберг старался смотреть куда угодно, но только не на то, что ему демонстрировали. На миг вспыхнуло желание спалить к бесам весь этот адский паноптикум – но единственное, что он мог сделать – оказавшись у стола, запечатлеть проклятье низшего уровня на питье в стакане медика, словно бросив туда щепоть чего-то невидимого, а ассистентка не замедлил доложить своё пойло, так что колики и изнуряющий понос были этому светилу науки обеспечены.

Когда Штернберг явился в канцелярию лагеря, Франц, изучавший личные дела заключённых, вздрогнул от его незнакомого механического голоса, проскрежетавшего:

– Собирайся, мы уезжаем.

– Шеф, – зачастил Франц, – я тут пересмотрел документы и вот что обнаружил: те дни, когда номера из одного и того же барака, чешского, попадали в штрафной блок, совпадают с датами несчастных случаев, поэтому начать можно с...

– Я сказал, мы уезжаем.

– Разрешите задержаться, шеф. Я как раз хотел поговорить с блокфюрером¹⁹ насчёт того, с кем в друзьях эти самые номера. Тут один шарфюрер²⁰ из охраны собирается в город, он подвезёт меня на мотоцикле.

– Да как хочешь, – Штернберг махнул рукой и, деревянно развернувшись, вышел из комнаты, плечом едва не вынеся дверь. Франц посидел немного, подумал и бросился вдогонку.

В автомобиле Франц несколько раз порывался спросить у командира, что произошло, но только открывал рот, Штернберг цедил сквозь зубы: «Заткнись».

Едва отъехали от лагеря, Штернберг вдруг приказал остановиться, выскочил из машины и торопливо отошёл от дороги, оступаясь на корнях и отмахиваясь от веток. По припорошённой снегом опавшей листве он скатился в неглубокий овраг, упал на колени, и его вырвало так сильно, как никогда в жизни – с болезненными спазмами, сотрясавшими всё тело, с такой острой судорогой, скрутившей внутренности, что, казалось, желудок наизнанку выворачивается, и вот-вот собственную душу выкашляешь да заодно выблюешь кишки. После того как нутро до последней капли выжало комендантскую выпивку, его ещё долго корчило в сухих позывах, отдававшихся во рту едким привкусом.

¹⁹ Блокфюрер – старший по блоку, объединявшему несколько бараков. Низшая административная должность в концлагере, которую обычно занимал унтер-офицер СС. Блокфюреры находились в подчинении лагерфюрера, непосредственно контактировали с заключёнными.

²⁰ Шарфюрер – звание унтер-офицерского состава в СС, соответствовало званию унтерфельдфебеля (старшего сержанта).



Когда он, наконец, вернулся к автомобилю – с гнилыми листьями, прилипшими к полам шинели, на ослабевших, дрожащих ногах, вытирая губы платком, – гестаповцы, покудивавшие у своего «Фольксвагена», переглянулись, и Хармель скучно заметил:

– Я ж говорил, паршивое у Зурена вино. Не вино, а коровья моча. Меня ещё вчера от него мутило...

Шольц усмехнулся, наблюдая, как услужливый унтер пытается почистить своему командиру шинель, а тот хлопает его по загривку и молча указывает на машину.

В гостиничном номере Штернберг первым делом бросился в ванную, с омерзением скрывая с себя и швыряя на пол одежду, всю, как ему мерещилось, насквозь провонявшую гарью, блевотиной, барачной дезинфекцией. Словно бы какая-то невидимая плёнка, вроде засохшей слизи, покрывала его с ног до головы, и он с остервенением, едва ли не в кровь раздирая, скрёб губкой саднящую кожу, и яростный ливень душа заглушал его сдавленные рыдания, мгновенно смывая слёзы с искажённого лица. Он давился тёплой, дрянной на вкус водой, раскрывая рот в беззвучном крике, от которого, должно быть, лопнули небеса, задышался и кашлял, и на мгновение становилось легче, проще. В хрипе воронки, втягивавшейся в сливное отверстие, слышались вопли избиваемой солдатами беременной. Совершенно некстати вспомнилось, какими осторожными, важными шажками спускалась сестра по неудобной крутой лестнице в их мюнхенском доме в те месяцы, когда донашивала Эммочку. А ведь сегодня на этих ужасных многоярусных нарах могли бы находиться и его мать, и отец, и сестра, и Эммочка, если б несколько лет назад он выбрал иную долю – участь студентов из подпольной организации «Белая роза», и был бы, несомненно, гильотинирован одним из первых, потому что всегда слишком заметен, слишком на виду, слишком рьяно берётся за любое дело, а родные были бы разбросаны по концлагерям рейха – прокляли бы они его за это? Или гордились бы им? Не отреклись бы от него, как теперь, а гордились?..



Вода воняла нечистотами, и нечистоты текли по его жилам. Внезапно душ разразился оглушающим ледяным холодом, и сразу за тем – таким оголтелым кипятком, что Штернберг с воем выпрыгнул на скользкий кафель, проклиная всё на свете. Он покрутил краны, в сердцах

шарахнул по ним кулаком – и что-то сорвалось, в потолок ударил фонтан вулканически-горячей воды, и всё заволокло удушливым паром. Грязно ругаясь, Штернберг выскочил прочь из ванной комнаты.

Он стоял, трясся от холода, по телу обильно струилась тепловатая вода, ширя быстро остывающую лужу на паркете. Раздвинул длинную чёлку, залепившую глаза, но всё равно ни черта не увидел – ненароком сброшенные с края ванны очки утонули в кипятке.

– Фррранц!!! – истошно взвыл он и едва не прокусил язык, так лязгали зубы. – Франц, прах тебя возьми!!!

– Я вас слушаю, шеф, – едва различимый Франц возник рядом внезапно, как дух из лампы.

– Франц, где этот чёртов комендант?!

– Комендант концлагеря?

– Нет!!! Комендант этого тифозного барака, чтоб его разнесло! Гостиницы, холера её возьми! Меня чуть заживо не сварили!

Франц заглянул в ванную и присвистнул. За дверью клубилось жаркое тропическое марево, вода уже переливалась через порог, и в ней водорослями колыхались полотенца.

– Комендант на дне рождения у группенфюрера²¹ Брюннера, шеф. Все на дне рождения у группенфюрера Брюннера. Там полгорода собралось...

– Ну, хоть кто-нибудь здесь остался?!

– Не могу знать, шеф. Все на дне рождения у группенфюрера Брюннера. Там, говорят, еды навалом, дают бесплатный шнапс и девок.

– О, Санта-Мария... – застонал Штернберг, привалившись мокрой спиной к стене. «Напиться, что ли, – в тоске подумал он. – До трупного окоченения. Чтоб лежать бревном и ничего не чувствовать». Он пару раз со всей силы с наслаждением стукнулся затылком о стену.

– Шеф, голова-то не казённая, – напомнил невозмутимый Франц. – И вообще оденьтесь, не то простудитесь. – Франц всучил Штернбергу махровый ком, а Штернберг лишь сейчас сообразил, в каком он виде – подобно многим близоруким людям, он был преследуем дурацким неконтролируемым убеждением, будто в те минуты, когда он смотрит на мир без очков, прочие видят всё так же расплывчато и невнятно, как он сам, – и аж пальцы на ногах поджал от стыда. Ну что можно подумать о человеке, который стоит голый перед подчинённым и долбит башкой о стену?

– Мне нужны запасные очки, – запахнувшись в халат, Штернберг, сгорбившись, пошёл по комнате, вода перед собой руками, чтобы не налететь на какой-нибудь курительный столик. – Где мой чемодан?

– У вас под ногами, шеф.

– Проклятье. – Штернберг схватился за ушибленную ногу. – Спасибо, теперь уже вижу.

– Да давайте же я вам помогу...

Настойчивый стук в дверь номера отменил небесполезное намерение Франца. Он пошёл открывать.

– Если это кто из персонала, передай, они все могут считать себя уволенными! – крикнул ему вслед Штернберг.

Франц вернулся почти мгновенно.

– Шеф, – взволнованно начал он, – там, там какая-то молодая особа, она представилась как фройляйн Энгель, ну такая красавица, просто умереть можно! Она передаёт вам привет от герра Зурена. Она хочет немедленно вас видеть. Говорит, у неё специальное удостоверение о том, что она... ну, в общем...

²¹ Группенфюрер – звание высшего офицерского состава в СС, соответствовало званию генерал-лейтенанта.

Штернберг прямо-таки зарычал от злости. Сумасшедший дом. Нет, что там, натуральный бред. Кто-то беспробудно и тяжело бредит, а мы населяем его кошмары.

Утвердив на носу очки, он отыскал брошенную на диван португую с поясным ремнём, достал из кобуры «парабеллум», сдвинул рычажок предохранителя и показал оружие Францу.

– Смотри сюда. Вот пистолет. Вот я сажусь на диван. Если вон там, в проёме, – Штернберг вытянул руку с «парабеллумом» по направлению ко входной двери, – покажется хоть кто-нибудь посторонний, я его тут же прикончу безо всяких разговоров. Неважно, кто это будет. Хоть эта Энгель, хоть чёрт с вилами, хоть группенфюрер Брюннер со всем своим бардаком. Ты понял? Если хочешь, чтобы меня заточили в психушку или отправили на фронт, валяй, впускай кого угодно. Если нет – потрудись, чтобы вся эта шваль мой номер на цыпочках обходила.

Франц лишь головой покачал и пошёл выпроваживать пришельцу.

Штернберг тупо смотрел, как вода разливается по комнате, образуя запруды возле ковра. Никогда ещё в его сознании не было такой всеобъемлющей, сухой и холодной пустоты. Словно аннулировались ментальные законы, и само порождение мыслей стало объективно невозможным. Словно настала последняя ночь мироздания. Словно дальше уже ничего не будет.

Равенсбрюк

25 ноября 1943 года

Картина всего окружающего, казалось, отодвинулась, сделалась плосче, и в ней произошли множественные малозаметные смещения, подобные небольшим сдвигам участков цвета на репродукции, пострадавшей от скверной полиграфии. Была во всём какая-то противоестественность, сродни телесным ощущениям при переломе кости – пока ещё без боли, но уже с неподвижностью, с отвратительным неудобством в исковерканной конечности. Легкомысленно отмахнувшись от этих тревожных симптомов, Штернберг даже приятно поразился своему неожиданному хладнокровию, когда поехал в концлагерь осматривать заключённых, внесённых Францем в список подозреваемых.

Умница Франц всего за три дня проделал огромную канцелярскую работу, над которой Штернберг чах бы полторы недели. Франц выписал номера заключённых, ликвидированных либо попадавших в штрафной блок за день до или же в самый день убийств, а также номера тех, кто являлся их родственниками или, по данным осведомителей, был в дружеских отношениях с этими узниками и мог бы пожелать отомстить за них. Среди всех отобранных заключённых он особо выделил тех, что считались неблагонадёжными, и отсеял уже уничтоженных. Заодно Франц, пообщавшись с блокфюрерами, собрал кое-какие лагерные слухи и выяснил, каких заключённых и почему побаиваются капо и доносчики. Всё это он сопоставил с перечнями заключённых, прибывших незадолго до начала серии происшествий. Правда, получившийся в результате список был слишком обширным, чтобы вызвать восторг у Штернберга. Первым делом Штернберг попробовал поводить маятником над столбцами с номерами, но маятник висел на нити, как снулая рыба, и не отвечал вообще ни на какие вопросы. Так что Штернбергу предстояло искать иголку – или несколько иголок – в стогу сена. Но всё же наличие списка – пусть не столь короткого, как хотелось бы, пусть весьма сомнительного – было несравненно лучше тупого просматривания едва теплящихся аур многих тысяч измождённых людей – да Штернберг, наверное, и сам бы загнулся уже после двух сотен заключённых.

Лагерфюрер проводил Штернберга в спецблок, где приезшему специалисту была выделена комната для допросов. Просторному помещению эсэсовцы придали подобие уюта – с ярким инквизиционным колоритом: диванчик, креслице, письменный стол с лампой для допрашивающего, привинченный к полу металлический табурет с ножными кандалами для допрашиваемого и богатейший пыточный инструментарий по стенам. Штернберг оглядел всю эту зловещую роскошь, чувствуя себя туристом в подвалах Супремы. Проходя вдоль экспози-

ции, он задел полкой шинели низкий шаткий столик, с которого шумно посыпались многочисленные штыри разного размера и конфигурации.

– На черта тут какие-то запчасти? – машинально спросил он и сразу пожалел об этом.

– Для специальных насадок, – кинулся объяснять и показывать лагерфюрер. – В сиденье табурета, видите, отверстие, а приводится всё в движение системой на базе автомобильного насоса... Прикажете привести ассистента? Он поможет с техническими проблемами при ведении допроса.

– Благодарю, сам разберусь, – процедил Штернберг.

В общем-то ему предоставлена неплохая возможность прибить этого вертлявого главнадзирателя. Прибить и сказать, что так и было. Что таинственные преступники поработали. Сейчас они одни. Кто разберётся? Разве что другой оккультист уровня Штернберга... Вот именно. Ещё устроят проверку. Кроме того, приготовленное для гостя помещенье наверняка прослушивается, комендант тут дошлый и шустрый. Немного обиделся, между прочим, на то, что Штернберг отверг его позавчерашнее вечернее подношение, на каблучках прицокавшее. Тьфу... Теперь ясно, как чувствует себя человек, сброшенный в бочку ассенизатора и нахлебавшийся там по самые гланды. Кстати, о прослушивании, не говоря уж о том, что находиться в декорациях к постановке по мотивам знаменитого средневекового труда «Молот ведьм» решительно невозможно...

Штернберг вышел в коридор, прошёл до самого конца, выбирая дверь понеказистее, выбрал и рванул на себя, с первого раза сломав хлипкий замок. За дверью открылось небольшое запущенное помещение с пыльным окном, в углу стояли лопаты и лежал моток колючей проволоки.

– Очистить эту комнату, быстро, – приказал Штернберг. – Внести стол и два простых стула. Больше ничего не нужно. Чтоб через десять минут было готово, – он посмотрел на часы. – Время пошло.

Лагерфюрер уставился на строптивного гостя, разинув рот. Да как же так, залопотал он, ведь подготовлено помещение, большое, светлое, удобное, всецело оснащённое... И вот тогда Штернберг заорал на него, давая хоть частичный выход чугунной ненависти, прочно сидевшей в нём, словно осколок снаряда, уже третий день – страшной ненависти к окружающим и к самому себе. Он точно убил бы кого-нибудь, если б не продрал как следует глотку. Он даже – впервые – получил удовольствие от этого процесса сотрясания воздуха. Он понял, что у него это, оказывается, неплохо получается. Его вкрадчивый бархатистый голос обладал замечательной способностью перекидываться в оглушающий командирский рёв, высшего качества, со стальным лязгом, с хлёсткой хрипотцой. Лагерфюрер стоял навтыжку, обильно потел и трясся от ужаса. На веки вечные уяснив, что у «Аненербе» существуют свои методы и что при следующей попытке возразить кому бы то ни было он получит звание рядового и прелести Восточного фронта, лагерфюрер бегом бросился выполнять указание, точнее, посредством подобного же ора расшевеливать свою зажратую солдатню.

Вскоре привели первых заключённых из списка. Штернберг, полагаясь на свой дар чтения мыслей, а также на неплохое знание основных западноевропейских языков и поверхностное знакомство с некоторыми языками Восточной Европы, самонадеянно отказался от группы переводчиков, предоставленной комендантом, но немного погодя понял, что это было далеко не самым разумным решением. Многие заключённые знали по-немецки лишь свой личный номер, который они обязаны были заучить в течение первых суток пребывания в лагере, да ещё несколько основных команд, и ничего больше, а когда Штернберг, ориентируясь на указанную на нашивке национальность, демонстрировал скудные познания в чешском или польском, узники смотрели на него так же тупо, как если бы он говорил по-немецки, да и сам горе-полиглот отнюдь не был уверен в качестве своего произношения – и недаром: чудовищный великогерманский акцент совершенно затемнял смысл коряво построенных фраз.

Перед ним проходили человеческие оболочки. Никогда прежде Штернберг не видел, чтобы люди вообще не думали – и почти не чувствовали. Все их эмоции сводились к тяжкому унылому ужасу, даже хуже – к чему-то привычно-гнетущему, глухим пологом накрывшему всё их существование, в душной темноте которого изредка мелькали вспышки страха перед физической болью.

Приводимые блокфюрером, они садились на стул напротив и глядели в никуда. В основном. Менее равнодушные прежде всего смотрели на петлицы Штернберга – определяли степень интереса этих к своей персоне, а затем их взгляд тоже упирался в несуществующую точку невидимого горизонта. Они могли смотреть и в лицо, но всё равно взгляд оставался расфокусированным, они словно не видели перед собой ничего, кроме бездонной пустоты. На все вопросы отвечали коротко: «Да» – «Нет». Если, конечно, понимали, о чём их спрашивают. Те, что не знали немецкого, взирали на герра офицера с пустым ужасом – каким-то разверстым, точно распяленный в вопле беззубый рот, – тоскливо ожидая дикого ора и побоев. Таких Штернберг просто осматривал и, безнадежно махнув рукой, приказывал увести. Безмолвный, очень корректный Франц выводил их в коридор и перепоручал блокфюреру, и через минуту вводил нового заключённого. Всё это напоминало конвейер, работающий вхолостую.

Ни про кого из заключённых нельзя было сказать ничего определённого. У них не было аур. Их энергетика была на нуле. У них не было мыслей. У них не было чувств. Для Штернберга они были подобны ходячим мертвецам. Но и сам Штернберг – он очень отчётливо ощущал это – был для них никто, пустое место, ходячий мундир, нечто неназываемое, аморфное, затянутое в униформу: разрежь китель – и растечётся слизью. Всё это было так мерзко и страшно, что Штернберг уже на десятом заключённом взмолил о пощаде – точнее, объявил получасовой перерыв – и все полчаса в бездумье просидел за столом, уставившись в одну точку. Слегка подташнивало. Сегодня он ещё ничего не ел. И вчера, кажется, тоже вообще не ел. Ну и чёрт с ним. Похоже, проекту школы «Цет» следовало заказывать надгробие.

Впрочем, дальше всё было не так уж скверно. Девятнадцатой в списке шла женщина, австрийка, примечательная тем, что, по слухам, она каким-то чудом выхаживала в бараках умиравших после истязаний в штрафблоке заключённых. И она заметно выделялась на фоне уже виденных Штернбергом узниц. Её, как многих здесь, шатало от недоедания, но у неё был осмысленный, внимательный взгляд и, хотя сильно поплёкшая, но чётко читающаяся изумрудно-зелёная аура прирождённого целителя. Штернберг попросил её положить руки на стол и протянул свои чистые, палево-розовые ладони над её, почерневшими от грубой грязной работы. Она сразу отдернула руки, словно обжёгшись.

– Вы явно что-то почувствовали, – сказал Штернберг.

Узница молчала.

– Я жду ответа.

– Это как огонь... – пробормотала женщина.

Штернберг довольно кивнул. Обычные люди чувствуют лишь тепло. Наконец-то он мог поставить в списке первую галочку. Нет, эта заключённая, конечно, не могла быть преступницей – такие возвращают жизнь, а не отнимают. Но у этой женщины был дар, достойный самого пристального внимания.

– Я нахожусь здесь для того, чтобы предложить вам возможность покинуть концлагерь. Начать новую жизнь. Совершенствовать ваш талант. Применять его в деле. Вы прекрасно знаете, какой талант я имею в виду, – громко и отчётливо выговорил Штернберг. Подумав немного, добавил:

– Более того. Здесь вам грозит скорая смерть. А тем временем за воротами лагеря вас ждёт достойная жизнь. Новые знания, уважаемая работа. Меня не интересует ваше прошлое. Меня интересуют ваши способности.

Это прозвучало с таким дубовым пафосом, что он чуть не плюнул от отвращения к себе.

Женщина смотрела на него остановившимся взглядом. Вначале он подумал, что до неё не дошло и надо повторить, но, насторожив Тонкий слух, понял, в чём дело: она просто-напросто боится и нисколько ему не доверяет. В лагере считалось, что любое изменение в заведённом распорядке ведёт к худшему, что следует тщательно избегать любых перемен и тогда, быть может, протянешь подольше. Как преодолеть это вдолбленное непрерывным многомесячным ужасом убеждение, Штернберг понятия не имел. В самом деле, с какой стати измученная узница должна верить лощёному эсэсовцу? Это было очередное упущение в длинном ряду бесчисленных недочётов злосчастного проекта, о которых Штернберг и не подозревал, когда взвалил на себя сложнейшую, как выяснилось, задачу набрать будущих сотрудников из потерявших человеческий облик полумёртвых существ. Он-то думал, они сами с радостью за ним побегут, подальше от концлагеря, стоит лишь свистнуть. Ну и идиот же он, чёрт бы его побрал. Штернбергу вспомнилась изъятая у заключённых рисованная листовка, которую ему показывал лагерфюрер: огромный ворон в эсэсовской фуражке сидит на перилах моста, под которым текут реки крови. Равенсбрюк. «Воронов мост»²². А если половине узников будет страшно играть с осатаневшей судьбой, и без того едва удерживающей их на волосок от гибели, а другая половина окажется принципиальной, и им, понимаешь ли, мерзостно идти добровольно «вкалывать на наци»?.. Ну, и что тогда? Школа не тюрьма, силком не потащишь.

– Итак, выбор за вами, – с расстановкой произнёс Штернберг.

– Что будет, если я откажусь? – тихо спросила женщина.

– Да ровным счётом ничего вам не будет, – с досадой ответил Штернберг. – Останетесь здесь, а я уеду. Но почему вы спешите отказаться? Подумайте. Хуже вам точно не будет. А вот лучше – наверняка.

Долгий взгляд узницы – словно взгляд в небо из глубокого колодца – красноречиво говорил о том, что может быть много хуже. Эта женщина наяву видела такие чёрные бездны, какие Штернбергу и не снились.

– Я благодарю вас за оказанную мне честь, господин офицер, – запинаясь произнесла заключённая, – но я считаю, что здесь я нужнее.

«О господи, – взвыл про себя Штернберг. – И она ведь совершенно искренне говорит. Бывают же такие. Но должен, должен быть какой-то способ уговорить её».

– Хорошо, фрау... – он посмотрел в список, – фрау Керн. Достоин и самоотверженно. Но сколько вы здесь ещё протяните? Месяц? Два? А сколько проживут те, кого вы поднимете на ноги? Сегодня вы их выходите, а завтра какой-нибудь шарфюрер вздумает поразвлечься стрельбой по живым мишеням. И смысл ваших стараний?.. А подумайте, скольких вы сможете спасти, если останетесь в живых и получите такие знания, которых не дают ни на одном медицинском факультете. Вы ведь, кажется, медсестра? Мы можем вас многому научить. Доказательства? Пожалуйста, – он накрыл ладонью кисть её правой руки, обезображенную глубоким сильно воспалившимся порезом, и, когда отнял ладонь, опухоль спала на глазах.

Женщина отвела взгляд.

– Значит, вы теперь даже такое умеете...

На минуту в небольшом помещении воцарилась столь глубокая тишина, что Штернберг слышал тиканье своих наручных часов.

– Так что вы скажете на моё предложение? – спросил он.

– У меня... у меня здесь дочь, я не могу.

– Ваша дочь будет освобождена вместе с вами.

Глаза женщины вдруг заблестели так ярко, словно комнату залило солнечное сияние – хотя за окном шёл густой снег.

– У меня муж в Бухенвальде, – прошептала она.

²² Равенсбрюк – в переводе с немецкого – Воронов мост.

– Имя.

– Простите, что?

– Имя вашего мужа. И дата рождения.

Она назвала. Штернберг записал.

– Ваш муж будет освобождён в один день с вами. Вы понимаете, как много от вас сейчас зависит, фрау Керн?

Она понимала. Как и то, что сидящий напротив странный чиновник обладает сказочной властью одним росчерком пера освободить хоть сотню человек зараз. Умная женщина. Правильно, я бы на твоём месте тоже отчаянно торговался.

– У меня сестра в одном из отделений Равенсбрюка. Кажется, в Мальхове...

Штернберг подвинул к ней лист бумаги и ручку с золотым пером.

– Пишите. Отчётливо. Имя, фамилия, дата рождения, желательно название концлагеря. Кого вы хотели бы видеть на свободе. Всего не больше пяти человек. Это будет наша с вами сделка.

Вот так. Оказывается, так просто. Так просто, что даже страшно.

Фрау Керн торопливо нацарапала крупными скачущими буквами пять имён. Крохотный список длиной в целую жизнь. Вчера эти пятеро были обречены на смерть – сегодня они получили законное право жить. И из-за чего? Из-за того, что один амбициозный карьерист предложил своему хозяину один амбициозный проект. Гиммлер позволил принимать любые меры, в том числе и такие. Собственно, почему именно пять? Что ж вы скромничаете, вершитель судеб? Можно и десять, и пятнадцать. Вся эта сволочь вроде Зурена определённо не обеднеет...

– Итак, вы согласны.

– Да, господин офицер.

– Распишитесь вот здесь.

Перед тем как заняться следующим заключённым, Штернберг спросил у фрау Керн, знает ли она здесь, в Равенсбрюке, узниц с необычными способностями вроде её собственных. Женщина ответила «нет», но подумала – мысли обессиленных людей очень легко читать – о паре человек, имена которых Штернберг не замедлил вытребовать. Её увели. Теперь её вместе с дочерью до отъезда поместят в особый барак, где персоналу под угрозой расстрела запрещено причинять вред ценным для рейха людям.

После её ухода Штернберг долго сидел в холодном оцепенении, поражаясь своей иезуитской изобретательности. Неплохо он тут устроился.

Из чёрной тетради

Система наладилась и заработала вполне эффективно. За неделю я набрал двадцать пять человек – двадцать пять кандидатов столь выдающихся достоинств, что утверждённую на бумаге школу можно было открывать хоть сейчас. Большим подспорьем оказались знакомства узников – один из главнейших оккультных законов гласит: подобное притягивает подобное, и данное утверждение справедливо в том числе для замкнутого мира заключённых. Общаясь с узниками, я вылавливал концы тонких нитей взаимных симпатий, а сам клубок знакомств поручал распутывать гестаповцам.

Как правило, заключённые сразу соглашались учиться и работать в эсэсовской организации, стоило только предложить им выкупить тем самым жизни своих родных и друзей. Часто случается, что люди попадают в концлагеря целыми семьями, и обрабатывать таких узников сравнительно легко. Обычно они немцы либо жители оккупированных территорий. Гораздо сложнее дело обстоит с военнопленными – а в Равенсбрюке представлена и эта, очень несговорчивая, категория заключённых. Свой небольшой опыт общения с ними я

до сих пор вспоминаю с дрожью негодования – и с горчинкой мазохистского удовлетворения: на что нарывался, то и получил.

Равенсбрюк

1 декабря 1943 года

Самой отвратительной была попытка завербовать красноармейского офицера. К женскому концлагерю с некоторых пор присоединили мужской, состоявший из пяти обнесённых высоким забором барачков, находившихся в восточной части Равенсбрюка, за эсэсовской швейной фабрикой, – и кто там только не обитал. Отпетые уголовники сидели по соседству с гомосексуалистами, с евреями, с несчастным французским парикмахером, недостаточно похоже подбритым какому-то чиновнику усики а-ля фюрер, с известным столичным хирургом, с советскими военнопленными. Приведённый пленный офицер едва волок по-немецки и предпочитал изъясняться по-русски, находя своеобразное достоинство в том, что окружавшие его эсэсовцы русского не знали, не знал и Штернберг – но ему как чтецу мыслей было от сего не легче.

Заключённый непринуждённо откинулся на спинку стула и принялся пристально рассматривать сидящего напротив очень молодого человека в чёрной униформе. Это было крайне неприятно. За прошедшие несколько дней Штернберг привык к робости и беспомощности проходящих перед ним измученных женщин, подавленных уже одним только его мужским превосходством, не говоря уж о внушительности эсэсовского звания, а затесавшиеся в этот бесконечный поток немногие заключённые мужского пола ничем не выделялись из общей массы доведённых до животного состояния изнурённых людей. Теперь же перед ним был офицер вражеской армии, держащийся в придачу с пугающей самоуверенностью и источающий столь едкое презрение, что Штернберг, прежде чем начать разговор, против воли замешкался, делая вид, будто сосредоточенно перебирает бумаги.

– Ну надо же, – вполголоса произнёс пленный по-русски – а его мысли шли синхронным переводом. – Во фриц. Хоро-ош фриц, ничего не скажешь. Истинный ариец. Эк тебя перекорёжило, болезного, любо-дорого смотреть.

– Молчать, – сухо приказал ему Штернберг, раскладывая на столе личное дело заключённого номер такой-то. Из цветных пометок на документах следовало, что сидящий перед ним узник в самом скором времени будет ликвидирован, и не потому, что непригоден к работе, а потому, что ведёт себя непозволительным для узника образом.

Штернберг наконец заставил себя оторваться от бумаг и встретил тяжёлый взгляд сумрачно-серых глаз. Исхудавшее, но твёрдое и притом молодое лицо. Шрам на лбу. Упрямый и презрительный рот. Резкий запах пота и какого-то дрянного курева, которое тут умудряются раздобыть друг у друга путём первобытной мены некоторые заключённые. Не, случай безнадёжный. Но какая аура, Санкта-Мария! По словам капо, этот узник всегда точно знает, кто из его товарищей по заключению и когда умрёт или будет убит. Видит бог, капо не врал. Да, из этого офицера вышел бы блестящий прорицатель... И Штернберг пошёл на принцип.

– Итак, – медленно заговорил он, – майор Красной Армии. Коммунист. Награждён, ага... Хорошо. И при всём при этом предсказывает людские судьбы. Судя по тому, как его сторонятся соседи по бараку, весьма неплохо предсказывает. Как-то не состыковывается фатум с коммунистическим мировоззрением, не находите, Towarisch?

– Я тебе не товарищ, – моментально отреагировал заключённый и надолго замолчал, переваривая остальное. Переводчика, что ли, позвать?

– Вы понимаете, что я говорю? – спросил Штернберг.

– Йа, ихь ферштее, – после некоторого раздумья ответил заключённый и добавил по-русски: – Значит, заинтересовались, гниды.

– А что вы скажете по поводу собственной судьбы? – спросил Штернберг. – Вы знаете дату своей гибели?

– Ихь вайс, – холодно усмехнулся заключённый. – Зи виссен дас филяйхт аух²³. Вон, бумажки разложил, там-то уже всё отмечено. Жаль, твоей смерти, фриц, чего-то не вижу, не такой ты какой-то, странный фриц...

– А я вообще-то про себя и не спрашиваю, – брякнул Штернберг, забыв на мгновение, что свои необычные таланты лучше раньше времени не демонстрировать.

– Ага, понимаешь, – зло обрадовался заключённый. – Понимать понимаешь, а не говоришь. Всё по-своему гавкаешь.

Дальше разговор зазвучал очень странно: один собеседник говорил по-немецки, другой – по-русски, и при этом оба друг друга понимали, Штернберг – идеально, заключённый – похуже, опуская смысл неизвестных ему слов.

– В моих силах отложить день вашей смерти – на очень и очень долгий срок.

– Зачем?

– Затем, что люди с вашим даром – большая редкость.

– Предлагаешь на твой рейх горбатиться? Засунь своё предложение себе в задницу. Со мной здесь уж чего только не делали, в политотделе тутощнем. Думаю, тебе их не переплюнуть.

– Да вы лучше подумайте о том, что никогда не выйдете из лагеря, никогда больше не увидите свою семью. А ведь я мог бы дать вам такую возможность...

– Не лезь в душу, фриц.

– Вам претит клеймо предателя? Но я представляю науку, а не политику.

– Да пош-шёл ты... Слушай, а ты ведь тоже майор. Сколько тебе лет-то, майор? Ты, пацан, за что своего эсэсовского майора получил? Ты, майоришка, на передовой-то хоть раз в жизни бывал? По морде вижу, что нет. Штаны протирал в своей гестапе. Драть тебя надо было, сопляка, покуда ещё поперёк лавки лежал...

Много ещё чего в таком роде Штернберг услышал – вернее, не услышал даже, а прочувствовал всей шкурой, в ментальном мире полные презрения слова ощущались всё равно как плевки да пощёчины. Проклятого заключённого ничто не пугало. Когда Штернберг, не выдержав, к стыду своему пригрозил ему поркой, пленный лишь равнодушно пожал плечами: он был уже за гранью всего, в том числе страха перед физической болью. Он твёрдо знал, сколько ему осталось, и не желал ничего менять в своей судьбе. Он наслаждался совершенной, нерушимой свободой, против которой Штернберг, вольный хоть пристрелить его сию минуту, ничего не смел. Штернберг молча выслушивал оскорбления и думал: да, не стоило даже связываться, с самого начала всё было ясно, да и как я-то держался бы на его месте, дай же мне бог вести себя в подобной ситуации вот так...

– А если я предложу вам уйти из лагеря? – поинтересовался Штернберг в конце концов, отчаявшись добиться хоть какого-нибудь толка.

– Как уйти?

– А вот так: выведу вас за ворота, дам какую-нибудь хламиду, запрещу охране стрелять – и гуляйте на все четыре стороны. Это не шутка. Пойдёте?

Заклучённый подумал немного.

– Нет, не пойду.

– Почему же?

– Да потому, что ничего я у вас не возьму, ничего мне от вас, тварей поганных, и задаром не надо, и воли вашей фрицевской не надо, понял? Слушай, надоел ты мне, фриц, хуже горькой редьки, с души уже воротит от твоей косо́й рожи. Давай-ка на перекур.

²³ Знаю. Вы тоже наверняка знаете (нем).

Штернберг, от злости на провальную неудачу и на свою нерешительность – другой на его месте взял бы резиновую дубинку да пересчитал бы нагледу все рёбра – конвульсивно сжал кулаки, и пленный обратил на это внимание:

– Что, бить будешь? Ну, бей, ежели охота.

Штернберг вдохнул поглубже. Только без эмоций. Лупить, орать – это было бы сейчас признанием в слабости. Да и как можно бить отощавшего человека с израненной плетью головой, с обезображенными пыткой, искалеченными руками?

– Вы знаете, каким образом будете убиты?

– Меня к медикам отправят, – сообщил заключённый с отвратительным подобием улыбки – во рту у него не хватало половины зубов. – Облучать будут какой-то дрянью, от которой ожоги, вот и сдохну. Через две недели. Это уже точно. Можешь потом проверить.

Штернберг, приподняв за нижний угол пару листов, приоткрыл тот раздел документации, куда ещё не заглядывал – там могли содержаться сведения о дальнейшей судьбе узника. Всё правильно, медицинский блок. Но что за облучение такое? Тут Штернберг припомнил слышанные в лабораториях разговоры о том, что в Равенсбрюк намерен перебраться из Биркенау доктор Шуман со своей мощной рентгеновской установкой. Об этом даже администрация ещё, кажется, не знает, и уж тем более откуда это знать заключённым... Облучение... Ожоги...

– А знаете, вы не ошиблись, – тихо сказал Штернберг. – Ну а если я прикажу расстрелять вас прямо сейчас?

– Не прикажешь, – твёрдо ответил узник.

– Посмотрим. Франц! Блокфюрера сюда.

Когда блокфюрер показался на пороге, Штернберг открыл рот, чтобы произнести единственное слово – но не сумел. Просто не сумел. Ему никогда прежде не приходилось отдавать такого распоряжения. И короткое слово намертво застряло в глотке, хоть шомполом пропихивай.

Он сухо закашлялся, набрал воздуха побольше, закашлялся снова.

– Увести.

И насколько же торжествующим, презрительным, всё понимающим был брошенный напоследок взгляд заключённого. После его ухода Штернберг дико и бессмысленно уставился в разбросанные по столу документы, обхватив склонённую голову, ероша и сминая волосы. Он чувствовал себя оплёванным. Шах и мат. Проклятый кацетник... Он взял ручку и тщательно вымарал в личном деле советского офицера всё, что касалось медицинского блока. Он не мог объяснить себе, для чего это делает и какой ощутимый прок кому бы то ни было с этого будет.

После военнопленного привели одиннадцатилетнюю еврейскую девочку – о скверне её злополучной национальности сигнализировала ярко-жёлтая нашивка на робе. Штернбергу ещё никогда не доводилось видеть, даже здесь, в лагере, создания настолько истощённого, почти бесплотного. Девочка положила на стол ломкие, как сухие прутья, руки и устремила на офицера немигающий взгляд гипнотизирующе-огромных чёрных глаз. Кажется, она вовсе не понимала, о чём её спрашивают, хотя, судя по документам, была из немецких евреев. Её сознание было подобно выжженной пустыне. Штернберг, маявшийся от тошной жалости к этому бестелесному существу, поначалу разговаривал с ней очень мягко, терпеливо повторяя одни и те же вопросы, но вдруг что-то в нём бешено скакнуло на прутья клетки, клацнув зубами, и он неожиданно для себя самого оглушительно рявкнул, привстав:

– Да ты глухая, что ли?!

Девочка сжалась, закрывая голову руками, и тоскливо подумала – наконец-то она хоть что-то подумала! – о ком-то, кто мог бы её сейчас защитить от орущей твари в мундире, если бы был рядом, если б не оказался так некстати в штрафблоке... И Штернберг вздрогнул от внезапной догадки, уловив эту мимолётную мысль. Значит, всё-таки существует здесь какой-то

заключённый, который защищает от эсэсовцев других заключённых. Не он ли выдаёт пропуска на тот свет охранникам и надзирательницам?

– Кого тут недавно отправили в штрафблок? О ком ты только что подумала? – спросил Штернберг.

Ребёнок уставился на него с ужасом.

– Ты сейчас о ком-то подумала. Его имя.

Девочка молчала.

– Ну же, говори! – прикрикнул на неё Штернберг. Но от страха она даже думать перестала.

– Я тебя не выпущу отсюда, пока не скажешь!

– Дана, – прошептала малолетняя узница. – Её зовут Дана.

– Фамилию знаешь? Личный номер? Номер барака? Возраст? Национальность? – допытывался Штернберг. От металлических звуков его голоса девочка вздрагивала, как от ударов, и только молча мотала головой. И вдруг ни с того ни с сего маленькая узница без единого стоны свалилась на пол, словно марионетка, у которой разом перерезали все нити. Только что сидела на стуле – и уже распростёрлась на полу. Обморок?.. У неё совсем не осталось ауры, и потому нельзя было на глаз определить, что же с ней случилось. Штернберг вскочил, бросился к девочке и, едва приподняв её, понял, что она не дышит, что её жизнь невидимыми тёплыми струйками утекает сквозь его пальцы.

Говорят, заключённые тут умирают постоянно и повсюду. На работах, на перекличке, в бараке, на допросе, везде, где угодно. Он с треском разодрал на ней спереди робу и хлипенькую кофтёнку, обнажая ребристую, как стиральная доска, грудь, ударил кулаком – не сильно, боясь сломать ребра, запуская остановившееся сердце, потом пару раз развёл и свёл её руки, и девочка задышала сама. Штернберг положил тяжёлые ладони ей на грудь и отнял, лишь когда она вскрикнула от жара вливаемой в неё чужой жизни.

Он поднялся, пинком распахнул дверь.

– Франц! Блокфюрера сюда. И передай, пусть приведёт кого-нибудь с носилками.

Девочка слабо пошевелилась. Какая бессмыслица, устало подумал Штернберг. Всё равно ведь умрёт. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю, через месяц. Здесь все умирают.

Сегодня он явно был ни на что больше не годен, но, уже садясь в машину, вспомнил о таинственной заключённой по имени Дана, – попавшей в штрафблок. Следовало поторопиться вытащить её оттуда, иначе он рисковал уже не увидеть её живой.

Этот блок – с виду обычный барак – располагался на краю женского лагеря, возле забора, отделявшего Старый лагерь от промышленной территории Равенсбрюка. Дежурный по блоку, ёжась под взглядом Штернберга, просмотрел списки, послал помощника в канцелярию соотнести по картотеке личные номера узников с именами и, трепеща перед грядущим втыком, сообщил раздражённо расхаживавшему из угла в угол свирепому офицеру, что узниц с таким именем в штрафблок за последнее время не доставляли.

– В таком случае, шарфюрер, – Штернберг резко развернулся и пошёл прямо на дежурного, – я приказываю вам построить здесь всех заключённых блока и выспросить у них имена и клички. И если хоть один-единственный заключённый помрёт в ходе этого мероприятия, вы сразу займёте его место, вы меня поняли?

– Так точно, – затрясся дежурный. – Разрешите заметить, штурмбаннфюрер, заключённые находятся в карцерах...

– Да хоть в преисподней! Я сказал – немедленно. Я не люблю повторять.

– Слушаюсь... – промямлил дежурный. Ему крайне не хотелось выволакивать из ледяных ям умиравших там или уже мёртвых людей. – Ещё вы можете обратиться к оберштурмфюреру Ланге, он ответственный за сортировку, но часто работает и здесь...

– И что дальше?! Что вы мне зубы заговариваете? – взгляд Штернберга упал на конторку дежурного, где поверх бумаг лежала длинная чёрная плетё. – Вас хлыстом огреть, чтоб потопились? – он сгрёб со стола плетё, сбросив заодно какие-то папки, и оглушительно врезал ею по полу, выбив из затоптанного ковра тучу пыли.

– Оберштурмфюрер Ланге знает имена многих заключённых! – выпалил дежурный. – У него с ними какие-то личные дела...

– Ну так приведите сюда этого вашего Ланге, и поживее.

Лицо дежурного перекошилось.

– Виноват, штурмбаннфюрер, никак не могу. У него сейчас время отдыха, он меня попросту убьёт, если я побеспокою его...

– И правильно сделает. А что я вас прибую, не боитесь? – и Штернберг снова шархнул по полу кнутом.

Дежурный замер в мучительном раздумье, страдальчески морща лоб. Он вычислял, кто для него опаснее – здешний офицер Ланге, способный очень надолго отравить ему существование, или же вот этот разъярённый чиновник, приезжий, но зато такой страшный. Если не угодишь чиновнику, так потом ещё и Ланге, пожалуй, фитиль вставит... И дежурный измыслил компромисс:

– Давайте я вас провожу к нему, и вы с ним поговорите. Меня-то он вовсе слушать не будет.

Штернберг, ворча, согласился. Вдвоём они направились в другой конец улицы: впереди топал эсэсовский унтер, за ним шествовал Штернберг, прихвативший надзирательскую плетё и зло похлопывающий ею себя по бедру при каждом шаге. Густо сыпал крупный снег, налипая на шинель и невесомо касаясь подставленной ветру щеки. Над крыльцом последнего в бесконечно длинном ряду барака раскачивался, поскрипывая с гнусным взвизгиванием, тусклый жёлтый фонарь в ржавой железной клетке.

Они вошли в полутёмную прихожую. Из угла вырос мордастый небритый детина и не замедлил крепко послать унтера подальше, но затем пригляделся к петлицам Штернберга, вздёрнул руку, точно шлагбаум, и пролаял: «Хайль Гитлер!»

– Смирно!!! – заорал на него Штернберг. – Вы как разговаривали с унтер-офицером, рядовой? Вы как держите себя перед офицером?! Почему на вашем рыле щетина как на свиной заднице?! Шесть суток гауптвахты!!! За неуставной внешний вид и поведение! Шарфюрер! Доложите о моём приходе и уведите этого.

– Это же денщик оберштурмфюрера Ланге, – со страхом пробормотал дежурный.

– Да хоть личный секретарь Папы Римского! Выполняйте приказ.

Вскоре унтер вернулся в сопровождении самого Ланге, поприветствовавшего Штернберга с величайшей почтительностью – но вид у оберштурмфюрера был ещё более расхристаный, чем у денщика. Ланге, перед тем как идти встречать гостя, потрудился затолкнуть упругое пивное брюшко под более или менее пристойно смотревшийся френч, но сальные волосы стояли гребнем, из распахнутой мотни торчало бельё, а галифе были в подозрительных белёсых пятнах.

Сглатывая кислую тошноту, Штернберг процедил морщась:

– Хоть бы застегнулись, а...

– О, прошу прощения, – Ланге с рекордной скоростью замкнул свою калитку. – Не желаете ли бокал бургундского, штурмбаннфюрер? Ваш визит для меня большая честь. Весь лагерь только и говорит, что о вашем приезде...

– В первую очередь я желаю знать, сумеете ли вы помочь мне определить личность заключённой, о которой только и известно, что имя или прозвище, да ещё что она находится сейчас в штрафблоке.

– Думаю, да – если молоденькая и симпатичная. Многих цыпочек я запоминаю ещё с первой сортировки... Да что ж мы на пороге стоим, прошу, проходите.

Позже, в бесчисленных кошмарах, эта небольшая полутёмная комната приобрела inferнальное свойство бесконечной растяжимости, вмещая столько существ, сколько требовалось неведомому постановщику сновидений; в реальности созданий было всего пятеро, и поначалу Штернберг не обратил на них никакого внимания – ясно же было, какого рода сиесту устраивает тут себе герр Ланге. Да и сам Ланге вовсе не был похож на того уполномоченного врага рода человеческого, что вставал потом из-за стола, открывая очередной выпуск предутреннего бреда – скорее уж он походил на пошляка-зазывалу при аттракционе по проекту Иеронима Босха, чем здесь грешили все, начиная с коменданта. Покуда Ланге сражался с закупоренной бутылкой, Штернберг, теребя кнут, расхаживал вдоль стены – дверь – синее окно, задёрнутое с той стороны рябой портьерой снегопада – угол с грязно-жёлтым торшером и подвывающим граммофоном.

– Меня интересует заключённая по имени Дана, по национальности предположительно чешка. Вероятнее всего, это у неё не имя даже, а что-то вроде прозвища. Насколько я знаю, – Штернберг припомнил тот бледный образ, что ему удалось выкрасть из сознания маленькой еврейки, – она молода, так что, не исключено, это всё-таки по вашей части, ведь вы тут, как говорят, имеете дело с молодёжью.

– Всё верно, штурмбаннфюрер, – с достоинством подтвердил Ланге. – Я тут, можно сказать, спец по молоденьким цыпочкам. Штрафблок, значит. Дана... Это случайно не та ли самая ведьма, которую я сплавил на медпроизводство?

– Ведьма? – насторожился Штернберг.

– Ну, страшная, как семь смертных грехов, к тому же стерва девка. И хитрая. Всё до поры до времени её как-то стороной обходило. И ребята на неё, страхолюдину, не смотрели, и даже на порке не была ни разу. А порка, это, знаете, святое, всё равно как крещение...

– Не отвлекайтесь.

– Так вот, попалась она в конце концов на попытке к бегству. Ну, перепоручили её мне, а я сначала выпорол её душевно, потом в ледяной карцер посадил, пускай щёлку поморозит...

– Короче.

– А теперь в медблок определил, по нашей внутренней производственной линии. Думал сначала по-божески с ней обойтись: отправить станцевать на виселице, и всё. Да только она меня довела, стервюга! Вот пускай теперь попоёт, когда медики обнулят её на все четыре конечности и мне в таком виде предоставят, что хочу, то и буду с ней делать...

– Что значит «довела»? – отрывисто спросил Штернберг. Весь этот омерзительный разговор уже осточертел ему донельзя.

– Да ведьма – она и есть ведьма, – в незатейливых мыслях Ланге промелькнуло опасливое недоумение. – Мне её приволокли уже раненую и избитую, но всё равно, она как глянула на меня своими кошачьими зенками, мне отчего-то аж поплохело. Я ж говорю, ведьма...

– Где она? – гаркнул Штернберг.

Ланге вздрогнул и уронил штопор.

– Да наверно, уже в медблоке. Я ж её по внутрилагерной линии пустил, для своей личной коллекции.

– Что это значит? – зло спросил Штернберг.

– А вот, взгляните, штурмбаннфюрер, – с гордостью осклабил Ланге. – Возможно, вас заинтересует... Самому рейхсфюреру очень понравилось, он был просто в восторге.

И лишь тогда Штернберг увидел то, чего до этой секунды не замечал. Молчаливо присутствовавший при их беседе гарем оберштурмфюрера состоял исключительно из калек: безруких или безногих, а то и вовсе лишённых конечностей совершенно голых женщин. Впрочем, все подробности Штернберг рассмотрел позже, в многосерийных кошмарах – а сейчас

его взгляд беспорядочно метался, не в силах на чём-либо остановиться; он снова почувствовал безудержную тошноту, в ушах нарастал тонкий звон, как перед обмороком.

– Вам нравится? Наши медики разработали особую технологию вылушивания суставов...

– Оберштурмфюрер, можно вас на минутку? – не своим голосом произнёс Штернберг, отступая в прихожую.

Едва за спиной Ланге закрылась дверь, Штернберг молниеносно сгрёб его за шиворот и втиснул в угол – эсэсовец и вякнуть не успел, лишь стукнули о стену каблуки сапог.

– Слушай меня внимательно, ты, затейник, если с этой заключённой, Даной, хоть что-нибудь успели сотворить, я тебя самого по внутрилагерной линии пушу, ты меня понял?!

– Так... так точно, – просипел полузадушенный Ланге и поболтал не достающими до пола ногами. Штернберг отнял руки, и Ланге рухнул на взвизгнувшие половицы.

– Встать!!! – взревел Штернберг. Внезапно он вспомнил, что имеет в распоряжении длинный надзирательский кнут, изъятый из приёмной штрафблока, и с острым наслаждением вытянул им по спине копошащегося на четвереньках оберштурмфюрера.

– Лечь! Встать! Лечь! Встать! Смирно! Как стоишь, свинья! Смирно!!!

Ланге крупно дрожал, его пухлое трясущееся лицо стало белым как тесто.

– Вы только посмотрите на себя! И это называется немецкий офицер? – рукояткой кнута Штернберг ткнул Ланге в круглый живот. – Это называется баба на сносях, а не немецкий офицер! Почему от вас в служебное время разит вином, как из старой бочки? Почему у вас бордель в рабочем кабинете? Отвечайте, вы, троглодит!

Ланге, громко икая от страха, попытался что-то выговорить, но не осилил и первых двух слогов.

– Отставить! На пол! Пятьдесят раз отжаться! Раз! Два! Три! Четыре!..

За всю эту бесконечно длинную трижды проклятую неделю Штернбергу впервые было так хорошо – и никогда в жизни он ещё не получал такого пронзительного удовольствия от вида чужих мучений.

Когда Ланге окончательно изнемог и был не в силах продолжать даже под ударами кнута, Штернберг пинками выпроводил его на улицу.

– По кррругу бегом марш!!!

И Ланге, хныкая и давясь соплями, бегал вокруг, как цирковая лошадь, а Штернберг, длинный, чёрный, свирепый, страшный, подгонял его, будто жестокий дрессировщик, щелчками хлыста, стоило только незадачливому эсэсовцу чуть сбавить галоп. Невиданное зрелище быстро собрало зевак. Проходившая мимо колонна заключённых замедлила шаг и скоро вовсе остановилась – капо в изумлении застыла на месте, разинув рот, а узницы, скрестив руки на груди и кивая головами, громко переговаривались:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.